

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



А. Блок

# ПОЭМЫ



Поэмы [Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Туркова] // Дет. лит., Москва, 2002  
ISBN: 5-08-004026-2  
FB2: Padma, 04.02.2015, version 1.0  
UUID: 4a79f1d7-a97b-11e4-bbe7-002590591ed2  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Александр Александрович Блок**

## **Поэмы**

(Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу величайшего лирика конца XIX – начала XX в. вошли его эпические произведения: поэмы «Ночная фиалка», «Возмездие», «Двенадцать», «Вольные мысли», «Скифы».

Для старшего школьного возраста.

# Содержание

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| #1                               | 0006 |
| «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!..» | 0006 |
| Поэмы                            | 0025 |
| Ночная фиалка Сон                | 0025 |
| Вольные мысли                    | 0041 |
| Возмездие                        | 0067 |
| Соловьиный сад                   | 0147 |
| Двенадцать                       | 0158 |
| Скифы                            | 0178 |
| Приложение к поэме «Возмездие»   | 0186 |

**Александр Александрович  
Блок  
Поэмы**



*Autumn*

1880 - 1921

# «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!..»

**И**мя Александра Блока, пожалуй, прежде всего связано у большинства читателей с множеством замечательных лирических стихотворений, подчас – подлинных шедевров, будь то стихи о любви во всей ее великой силе и во всем драматизме (вспомним хотя бы знаменитое «О доблестях, о подвигах, о славе...» или «Приближается звук...») или о родине («Россия», «На поле Куликовом»).

Поэмы Блока, за исключением «Двенадцати», вызвавших бурю разноречивых оценок, даже до сих пор не утихшую, менее известны, хотя едва ли не каждая из них была важной вехой на творческом пути поэта.

Проба себя в этом жанре совпала у Блока с завершением и выходом в свет в конце 1904 года его первой книги «Стихи о Прекрасной Даме». В ней роман с будущей женой Л. Д. Менделеевой осмыслен в духе не только романтически-рыцарского преклонения перед возлюбленной, но и увлекшей молодого поэта

мистической философией Владимира Соловьева, пророчившего преобразование мира Красотой, Вечной Женственностью.

«Туго, гладкими стихами старательно пишу поэму», – сообщал Блок 13 декабря 1904 года другому соловьевцу – Андрею Белому. В рукописи она носила название «Прибытие Прекрасной Дамы». Как и в сборнике стихов, туманно-мистические образы сочетались в ней с чутким ощущением назревающих в реальной действительности перемен.

Занятые «тяжелым», «медленным» трудом люди в «душном порту» неясно мечтают о каком-то чуде. Наконец гроза поет им «веселую песню», предвещая скорое прибытие «больших кораблей» из далекой страны.

*А уж там – за той косою —  
Неожиданно светла,  
С затуманенной красою  
Их красавица ждала...*

*То – земля...*

Тут, пожалуй, впервые появляется в поэзии Блока образ родины (сходный образ впоследствии возникнет в знаменитом стихотво-

рении «Россия»: «И лишь забота затуманит твои прекрасные черты»).

В упомянутом письме Белому говорится, что автор «дошел наконец до части, где должна появиться Она». Однако остановился и затем, публикуя эти семь глав незавершенной поэмы, озаглавил ее просто «Ее прибытие», уклонившись от прямого отождествления «Ее» с Прекрасной Дамой. А один из ближайших друзей Блока, Евгений Иванов, обычно посвящаемый им в самые сокровенные переживания, писал в черновых набросках своих воспоминаний, что таинственная Она – это революция.

В то время революция рисовалась Блоку в самых светлых тонах, почти как Тузенбаху в чеховской пьесе «Три сестры», который, говоря о «здоровой сильной буре», радуется тому, что она «сдует (странный глагол применительно к буре! – А. Т.) с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Вот и у Блока «буйные толпы» ведут себя самым мирным образом:

*...в предчувствии счастья  
Вышли на берег встречать кораб-*



*ли.*

*Кто-то гирлянду цветочную бро-  
сил,  
Лодки помчались от пестрой зем-  
ли.*

*Сильные юноши сели у весел,  
Скромные девушки взяли рули.*

*Плыли и пели, и море пьянело...*

И если в одном из вариантов этой, последней из написанных глав упоминается «гребень кровавый» морской волны, то это всего лишь зрительное впечатление – отблеск солнечных «пурпуровых стрел».

Далекий путь лежит отсюда до «Двенадцати»! И первым шагом на этом пути стало решение автора не продолжать свою первую поэму как продиктованную «разными несбывшимися надеждами», как пояснит он позже, помещая ее главы в собрание сочинений. О желании «бросить поэму» сказано уже в том же письме Андрею Белому, а наступившее вскоре, 9 января 1905 года, Кровавое воскресенье могло только окончательно похоронить мечты о скором и триумфальном при-

шествии «кораблей свободы».

В трагическом стихотворении «Девушка пела в церковном хоре...» (1905) очарованным ее «сладким» голосом людям «казалось, что радость будет, что в тихой заводи все корабли», -

*И только высоко, у Царских Врат,  
Причастный Тайнам, – плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад.*

Здесь вероятны как скорбный отголосок гибели русского флота в недавнем Цусимском бою, так и символический мотив несбывшихся надежд. В пору поражения первой русской революции он вновь и вновь возникал в более поздней книге Блока «Снежная маска» (1907), в тех же, знакомых нам, образах: «Там, где... В дали невозвратные Повернули корабли. Не видать ни мачт, ни паруса...», «И за тучей снеговой Задремали корабли...», «На вьюжном море тонут Корабли...» и т. п.

Впрочем, новый и совсем особый драматический поворот приобретает эта тема уже в поэме «Ночная Фиалка» (1906). В отличие от

пьесы «Балаганчик» (1906), где Блок весьма саркастически высмеял мистические «предчувствия» и «ожидания» своих недавних единомышленников (да и свои собственные!), поэма выдержана в иной тональности.

Говоря об одном персонаже «Балаганчика» – рыцаре, автор в письме к постановщику пьесы В. Э. Мейерхольду высказал примечательное пожелание, выраженное в метафорической форме: пусть меч его будет «матово-серым, как будто сталь его покрылась инеем скорби, влюбленности, сказки – вуалью безвозвратно прошедшего, невоплотимого, но и навеки несказанного» (то есть невыразимо дорогого).

Эти слова – как будто музыкальный ключ, в котором выдержано все повествование в «Ночной Фиалке». Герой во сне попадает в странный сказочный мир, где уже бывал раньше, когда вместе с «товарищами прежними» поклонялся «королевне забытой страны, что зовется Ночною Фиалкой». Теперь же он видит, как собравшиеся всё глубже погружаются в сонное оцепенение, «и проходят, быть может, мгновенья, А быть может, – столетья».

Подурнела королева, потускнели королевские венцы, рассыпаются в прах мечи, сквозь истлевший пол пробивается травка. Все овеяно «старинной бездыханной», а настоящая жизнь – где-то далеко отсюда:

*Слышу, слышу сквозь сон  
За стенами раскаты,  
Отдаленные всплески,  
Будто дальний прибой,  
Будто голос из родины новой...*

*Или гонит играющий ветер  
Корабли из веселой страны.*

На сей раз символический образ кораблей – жизненных перемен – возникает как решительный, динамический контраст блекнущему сказочному королевству. И сам герой, похоже, испытывает мучительное раздвоение между верностью когда-то дорогому прошедшему и тягой на простор. Мы еще припомним эту драматическую коллизию, когда будем читать более поздние поэмы Блока, в особенности – «Соловьиный сад».

Если в своей лирике Блок вскоре декларировал: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И

приветствую звоном щита!», то в цикле небольших поэм «Вольные мысли» (1907) возникает реальная панорама окружающего мира. Чрезвычайная конкретность, зримость рисуемых здесь картин повседневности даже побуждала некоторых критиков видеть в «Вольных мыслях» стихотворные очерки. Но конечно же это прежде всего «спокойные, строгие, простые и величавые стихи», как восторженно охарактеризовал их один современник, почувствовавший их явственное родство со знаменитыми пушкинскими белыми стихами.

Скитания лирического героя очерчены со всей бытовой достоверностью («Я проходил вдоль скачек по шоссе...», «Однажды брел по набережной я...»), но за ними проступают и его духовные метания и томления, острое неприятие «сытого» существования (описание «гуляющих модниц и франтов» живо перекликается со строками знаменитого стихотворения «Незнакомка»: «Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки»), тоска по «соленому воздуху» морских просторов и естественной народной жизни (у блоковских тру-

жеников почти иконные лики: «...Светлые глаза привольной Руси Блестели строго с почерневших лиц»).

Пройдет несколько лет, и поэт сделает следующий шаг на пути приятия жизни не только во всей ее живой конкретности, но и во всей драматической масштабности ее исторического течения, становления, смены и в то же время преемственности, связи поколений, когда «в каждом дышит дух народа, сыны отражены в отцах».

«Современная поэзия чужда крупных замыслов», – сетовал один из ее ярких представителей – Иннокентий Анненский в предсмертной статье 1909 года. Сходного мнения придерживался и Блок. Как «недостаток... современной талантливости» отмечает он в записной книжке «короткость, отсутствие *longue haleine*[1]».

Перечитывание пушкинской и толстовской прозы не только утверждает его в этих мыслях, в мечтах о «большом стиле», но и как бы исподволь создает атмосферу некоей духовной «предрасположенности» к возникновению «крупных замыслов». «Волнение идет

от „Войны и мира“ (сейчас кончил II том), – записывает он однажды ночью, – потом распространяется вширь и захватывает всю мою жизнь и жизнь близких и близкого мне».

Смерть отца в конце 1909 года, незаурядного ученого со сложной, несложившейся судьбой, способствует окончательной «кристаллизации» дотоле еще смутных мыслей.

Первоначально этому событию была посвящена преимущественно лирическая «Варшавская поэма». Впоследствии блоковский замысел расширяется и предполагает создание большого эпического полотна, запечатлевающего уже не только «жизнь близких», но и панораму русской и даже мировой истории конца XIX – начала XX века. «Варшавская поэма» становится лишь отдельной главой в этом новом произведении, где и отцовская биография, и эпизоды семейной хроники Бекетовых, родни поэта с материнской стороны, проецируются на широчайший исторический фон. Поэт стремится отыскать и выявить скрытые связи между личными драмами персонажей и нараставшим в мире предгрозовым напряжением.

Поэма «Возмездие» начинается триумфальной картиной возвращения русской армии в Петербург с русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Ликование, «толпа глазеющих зевак», все еще вроде бы благополучно... И, лишь как внезапно взметнувшийся язык подземного вулканического огня, возникает сцена тайного сближения революционеров, будущих участников цареубийства.

Столь же обманчивой оказывается и идиллическая жизнь изображенной далее петербургской дворянской семьи. Объективность, с которой описывает и оценивает поэт породившую его самого среду, – одно из его замечательных достижений. О конце русского дворянства говорит, как охарактеризовал себя однажды сам Блок, «тот, кто любил его нежно, чья благодарная память сохранила все чудесные дары его русскому искусству и русской общественности в прошлом столетии», но «кто ясно понял, что уже пора перестать плакать о том, что его благодатные соки ушли в родную землю безвозвратно...». (Не напоминает ли это отчасти грустную интонацию «Ночной Фиалки», где о персонажах го-



ворилось, что «над старыми их головами Больше нет королевских венцов»?)

Одно только появление «незнакомца странного» (во многом похожего на отца поэта), нарушившего семейный покой, подобно грозовой зарнице на дотоле мирном небе. Впереди же «сию старинную ладью» ждут новые небывалые бури, зарождающиеся в русской жизни, поистине пророчески охарактеризованной Блоком:

*Так неожиданно сурова  
И вечных перемен полна,  
Как вешняя река, она  
Внезапно тронуться готова,  
На льдины льдины громоздить  
И на пути своем крушить  
Виновных, как и невиновных,  
И нечиновных, как чиновных.*

К сожалению, автору не суждено было довести поэму до конца. Завершена лишь «отцовская» линия сюжета. Судьба сына (фигуры во многом автобиографической) остается неясной, но, несомненно, трагической. Возникающие в последней из завершенных, «варшавской», главе образы вьюги, ветра, кото-

рый «ломится в окно, взывая к совести и к жизни», «Пана-Мороза», который «во все концы Свирепо рыщет на раздольи», в чем-то близки атмосфере будущей «октябрьской» поэмы Блока с ее сквозным мотивом метельной бури, сотрясающей мир.

Рядом с грандиозным по замыслу «Возмездием» «Соловьиный сад» выглядит очень скромно, и сам автор улыбочиво называл его «поэмкой». Однако, читая «поэмку» и рассматривая ее в перспективе всего творчества Блока, вспоминаешь давние строки Фета:

*Но муза, правду соблюдая,  
Глядит – а на весах у ней  
Вот эта книжка небольшая  
Томов премногих тяжелей.*

В предельно сжатом и четко организованном сюжете «Соловьиного сада» воплощены издавна волновавшие Блока мысли и чувства. Уже в «Ночной Фиалке» герой тяготился пребыванием в сказочном королевстве, прислушиваясь к зову жизни за стенами. С годами этот мотив становится все отчетливее. Близкий будущей поэме сюжет возникает в стихотворении «В сыром ночном тумане...»,

где перед усталым путником возникает манящий огонек:

*И показалось мне:  
Изба, окно, герани  
Алеют на окне...*

*И сладко в очи глянул  
Неведомый огонь,  
И над бурьяном прянул  
Испуганный мой конь...  
«О, друг, здесь цел не будешь,  
Скорей отсюда прочь!  
Доедешь – всё забудешь,  
Забудешь – канешь в ночь!  
В тумане да в бурьяне,  
Гляди, – продашь Христа  
За жадные герани,  
За алые уста!»*

Волнующая автора тема развита с поразительной смелостью и искренностью в сюжете «Соловьёного сада», где сказочность сочетается с величайшей простотой. Сердце героя разрывается между окружившей его в волшебном саду красотой и суровым долгом, связанным с «низким», прозаическим образом осла, спутника самого будничного труда.

В литературе о Блоке существует версия, согласно которой соловьиный сад – нечто дьявольское, соблазн, созданный на погибель человеку. Однако думается, что это скорее образ счастья, еще недостижимого для людей и поэтому морально невозможного даже для того, который, казалось бы, мог им спокойно наслаждаться. Эта же мысль постоянно возникает и в лирике поэта:

*Пускай зовут: Забудь, поэт,  
Вернись в красивые уюты!  
Нет! Лучше сгнуться в стуже лю-  
той!  
Уюта – нет. Покоя – нет.*

Случилось так, что отдельным изданием «Соловьиный сад» был выпущен уже после революции, почти одновременно с «Двенадцатью», и демонстративно противопоставлялся некоторыми критиками этой новой поэме. Однако при всех внешне разительных отличиях оба произведения роднит самоотверженное приятие реальной жизни – в облике ли тяжелого будничного труда или грозно «двинувшейся» и крушащей на своем пути «виновных, как и невиновных» (вроде бедной

«толстоморденской Кати» в «Двенадцати») стихии народного мятежа.

Грозная, неостановимая поступь двенадцати героев явно ассоциировалась у поэта с его давним драматическим истолкованием знаменитого гоголевского образа-символа. «Что, если тройка, вокруг которой „гремит и становится ветром разорванный воздух“, – летит прямо на нас?» – писал он ранее, в статье «Народ и интеллигенция» (1908).

Блок чутко и верно понял, что «многопенный вал» (слова из его стихотворного послания «3. Гиппиус») революции возник из неисчислимого множества самых разных «капель» – от возвышенной мечты о справедливости до «черной злобы» и мстительных упований («Уж я ножичком полосну, полосну!..» – слышится в разноголосом «хоре» двенадцати красногвардейцев). По выражению чуткого современника, поэма осветила «и правду и неправду того, что совершалось». Ее герои несколько не идеализированы, и тем не менее она, по словам поэта Максимилиана Волошина, «оказалась милосердной представительницей (заступницей. – А. Т.) за темную и заблуд-

шую душу русской разиновщины». С величайшим состраданием и сочувствием написан образ «бедного убийцы» Катьки – Петрухи. И появление в финале поэмы Христа как бы во главе красногвардейцев, пусть и невидимого им, говорило о надежде автора на то, что правда и справедливость все-таки живут в глубине этих яростных душ и в конце концов восторжествуют.

Подобным стремлением защитить, отстаивать «правду того, что совершалось», продиктованы и написанные сразу после «Двенадцати» «Скифы». Непосредственные впечатления от происходящего (в первую очередь – от немецкого наступления на новорожденную и неокрепшую Советскую Республику) претворились в этой маленькой поэме в грандиозные трагические картины.

Еще в «Итальянских стихах» (1909) и других, более ранних произведениях Блок проводил резкую грань между ценностями великой европейской культуры и тем, что он называл «всеевропейской желтой пылью», цивилизацией, где «машина раздавила человека» (как это происходит в пьесе «Песня Судьбы»), гне-

тущей бездуховностью; между тем, что он впоследствии, в дни создания «Скифов», назовет «лицом» Европы и ее все явственней обозначающейся хищной «мордой».

Он и в «Скифах» по-прежнему признается в любви к европейской культуре:

*Нам внятно все – и острый галльский смысл  
И сумрачный германский гений.*

Однако все нараставшая в душе поэта с первых дней мировой войны боль за Россию, которой, по его убеждению, всех тяжелее (что и подтвердил происшедший в ней революционный взрыв), до крайности обострила его гневное неприятие «цивилизации дредноутов»:

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!*

И пусть картины страшного возмездия, которое постигнет «пригожую» Европу, если она не «опомнится», крайне фантастичны, но по-

разительно и по-прежнему современно вещее предчувствие поэтом катастрофичности, заложенной в мировой жизни и ныне проявляющейся в опасном противостоянии разных цивилизаций: сытого Севера и бедствующего Юга, «золотого миллиарда» обитателей процветающих стран и остальных жителей Земли!

Трудно поверить, что в начале своего творческого пути Александр Блок, дебютировавший как «чистый» лирик, сомневался в возможности поэмы открыть «простор для творчества». Ведь именно в этом жанре были им впоследствии созданы такие выдающиеся произведения, без которых его творчество, его поэтический облик попросту непредставимы.

*А. Турков*



# Поэмы

Ночная фиалка[2]

*Сон*







*Миновали случайные дни  
И равнодушные ночи,  
И, однако, памятно мне  
То, что хочу рассказать вам,  
То, что случилось во сне.*

*Город вечерний остался за мною.  
Дождь начинал моросить.  
Далеко, у самого края,  
Там, где небо, устав прикрывать  
Поступки и мысли сограждан мо-  
их,  
Упало в болото, —  
Там краснела полоска зари.*

Город покинув,  
Я медленно шел по уклону  
Малозастроенной улицы,  
И, кажется, друг мой со мной.  
Но если и шел он,  
То молчал всю дорогу.  
Я ли просил помолчать,  
Или сам он был грустно настро-  
ен,  
Только, друг другу чужие,  
Разное видели мы:  
Он видел извожичьи дрожки,  
Где молодые и лысые франты  
Обнимали раскрашенных жен-  
щин.  
Также не были чужды ему  
Девушки, смотревшие в окна  
Сквозь желтые бархатцы...  
Но все посерело, померкло,  
И зренье у спутника – также,  
И, верно, другие желанья  
Его одолели,  
Когда он исчез за углом,  
Нахлобучив картуз,  
И оставил меня одного.  
(Чем я был несказанно доволен,  
Ибо что же приятней на свете,  
Чем утрата лучших друзей?)

Прохожих стало все меньше.  
Только тощие псы попадались на-  
встречу,  
Только пьяные бабы ругались вда-  
ли.  
Над равниною мокрой торчали  
Кочерыжки капусты, березки и  
вербы,  
И пахло болотом.

И пока прояснялось сознание,  
Умолкали шаги, голоса,  
Разговоры о тайнах различных ре-  
лигий,  
И заботы о плате за строчку, —  
Становилось ясней и ясней,  
Что когда-то я был здесь и видел  
Все, что вижу во сне, — наяву.

Опустилась дорога,  
И не стало видно строений.  
На болоте, от кочки до кочки,  
Над стоячей и ржавой водой  
Перекинута мостики были,  
И тропинка вилась  
Сквозь лилово-зеленые сумерки  
В сон, и в дрему, и в лень,  
Где внизу и вверху,

И над кочкою чахлой,  
И под красной полоской зари, —  
Затаил ожидание воздух  
И как будто на страже стоял,  
Ожидая расцвета  
Нежной дочери струй  
Водяных и воздушных.

И недаром все было спокойно  
И торжественной встречей  
полно:  
Ведь никто не слышал никогда  
От родителей смертных,  
От наставников школьных,  
Да и в книгах никто не читал,  
Что вблизи от столицы,  
На болоте глухом и пустом,  
В час фабричных гудков и жур-  
фиксов,  
В час забвенья о зле и добре,  
В час разгула родственных чувств  
И развратно длинных бесед  
О дурном состоянии желудка  
И о новом совете министров,  
В час презренья к лучшим из нас,  
Кто, падений своих не скрывая,  
Без стыда продает свое тело  
И на пыльно-трескучих троттуа-

рах  
С наглой скромностью смотрит  
в глаза, —  
Что в такой оскорбительный час  
Всем доступны виденья.  
Что такой же бродяга, как я,  
Или, может быть, ты, кто чита-  
ешь  
Эти строки, с любовью иль зло-  
бой, —  
Может видеть лилово-зеленый  
Безмятежный и чистый цветок,  
Что зовется Ночною Фиалкой.

Так я знал про себя,  
Проходя по болоту,  
И увидел сквозь сетку дождя  
Небольшую избушку.  
Сам не зная, куда я забрел,  
Приоткрыл я тяжелую дверь  
И смущенно встал на пороге.

В длинной, низкой избе по стенам  
Неуклюжие лавки стояли.  
На одной – перед длинным сто-  
лом —  
Молчаливо сидела за пряжей,  
Опустив над работой пробор,

Некрасивая девушка  
С неприметным лицом.  
Я не знаю, была ли она  
Молода иль стара,  
И какого цвета волосы были,  
И какие черты и глаза.  
Знаю только, что тихую пряжу  
пряла,  
И потом, отрываясь от пряжи,  
Долго, долго сидела, не глядя,  
Без забот и без дум.  
И еще я, наверное, знаю,  
Что когда-то уж видел ее,  
И была она, может быть, краше  
И, пожалуй, стройней и моложе,  
И, быть может, грустили ко-  
гда-то,  
Припадая к подножьям ее,  
Короли в седи́нах голубых.

И запомнилось мне,  
Что в избе этой низкой  
Веял сладкий дурман,  
Оттого, что болотная дрема  
За плечами моими текла,  
Оттого, что пронизан был воздух  
Зацветаньем Фиалки Ночной,  
Оттого, что на праздник вечер-





ний  
Я не в брачной одежде пришел.  
Был я нищий бродяга,  
Посетитель ночных ресторанов,  
А в избе собрались короли;  
Но запомнилось ясно,  
Что когда-то я был в их кругу  
И устами касался их чаши  
Где-то в скалах, на фьордах,  
Где уж нет ни морей, ни земли,  
Только в сумерках снежных  
Чуть блестят золотые венцы  
Скандинавских владык.

Было тяжело опять приступить  
К исполнению сурового долга,  
К поклоненью забытым венцам,  
Но они дожидались,  
И, грустя, засмеялась душа  
Запоздалому их ожиданью.

Обходил я избу,  
Руки жал я товарищам прежним,  
Но они не узнали меня.  
Наконец, за огромною бочкой  
(Верно, с пивом), на узкой скамье  
Я заметил сидящих  
Старика и старуху.

И глаза различили венцы,  
Потускневшие в воздухе ржавом,  
На зеленых и древних кудрях.  
Здесь сидели веками они,  
Дожидаясь привычных поклонов,  
Чуть кивая пришельцам в ответ.  
Обойдя всех сидевших на лавках,  
Я отвесил поклон королям;  
И по старым, глубоким морщинам  
Пробежала усталая тень;  
И привычно торжественным жестом  
Короли мне велели остаться.  
И тогда, обернувшись,  
Я увидел последнюю лавку  
В самом темном углу.

Там, на лавке неровной и шаткой,  
Неподвижно сидел человек,  
Опершись на колени локтями,  
Подпирая руками лицо.  
Было видно, что он, не старея,  
Не меняясь, и думая думу одну,  
Прогрустил здесь века,  
Так что члены одеревенели,  
И теперь, обреченный, сидит  
За одною и тою же думой

*И за тою же кружкой пивной,  
Что стоит рядом с ним на ска-  
мейке.*

*И когда я к нему подошел,  
Он не поднял лица, не ответил  
На поклон и не двинул рукой.  
Только понял я, тихо взглядевшись  
В глубину его тусклых очей,  
Что и мне, как ему, суждено  
Здесь сидеть – у недопитой круж-  
ки,  
В самом темном углу.  
Суждена мне такая же дума,  
Так же руки мне надо сложить,  
Так же тусклые очи направить  
В дальний угол избы,  
Где сидит под мерцающим све-  
том,  
За дремотой четы королевской,  
За уснувшей дружиной,  
За бесцельною пряжей —  
Королевна забытой страны,  
Что зовется Ночною Фиалкой.*

*Так сижу я в избе.  
Рядом – кружка пивная  
И печальный владелец ее.*

Понемногу лицо его никнет,  
Скоро тихо коснется колен,  
Да и руки, не в силах согнуться,  
Только брякнут костями,  
Упадут и повиснут.  
Этот нищий, как я, – в старину  
Был, как я, благородного рода,  
Стройным юношей, храбрым ге-  
роем,  
Обольстителем северных дев  
И певцом скандинавских сказаний.  
Вот обрывки одежды его:  
Разноцветные полосы тканей,  
Шитых золотом красным  
И поблекших.

Дальше вижу дружину  
На огромных скамьях:  
Кто владеет в забвеньи  
Рукою меча;  
Кто, к щиту прислонясь,  
Увязил долговязую шпору  
Под скамьей;  
Кто свой шлем уронил, – и у шле-  
ма,  
На истлевшем полу,  
Пробивается бледная травка,  
Обреченная жить без весны

*И дышать стариной бездыханной.*

*Дальше – чинно, у бочки пивной,  
Восседают старик и старуха,  
И на них догорают венцы,  
Озаренные узкой полоской  
Отдаленной зари.*

*И струятся зеленые кудри,  
Обрамляя морщин глубину,  
И глаза под навесом бровей  
Огоньками болотными дремлют.*

*Дальше, дальше – беззвучно пря-  
дет,*

*И прядет, и прядет королевна,  
Опустив над работой пробор.  
Сладким сном одурманила нас,  
Опоила нас зельем болотным,  
Окружила нас сказкой ночной,  
А сама все цветет и цветет,  
И болотами дышит Фиалка,  
И беззвучная кружится прялка,  
И прядет, и прядет, и прядет.*

*Цепенею, и сплю, и грущу,  
И таю мою долгую думу,  
И смотрю на полоску зари.  
И проходят, быть может, мгно-*

венья,  
А быть может, – столетья.  
Слышу, слышу сквозь сон  
За стенами раскаты,  
Отдаленные всплески,  
Будто дальний прибой,  
Будто голос из родины новой,  
Будто чайки кричат,  
Или стонут глухие сирены,  
Или гонит играющий ветер  
Корабли из веселой страны.  
И нечаянно Радость приходит,  
И далекая пена бушует,  
Зацветают далёко огни.

Вот сосед мой склонился на  
кружку,  
Тихо брякнули руки,  
И приникла к скамье голова.  
Вот рассыпался меч, дребезжа.  
Щит упал. Из-под шлема  
Побежала веселая мышка.  
А старик и старуха на лавке  
Прислонились тихонько друг к  
другу,  
И над старыми их головами  
Больше нет королевских венцов.

И сижу на болоте.  
Над болотом цветет,  
Не старея, не зная измены,  
Мой лиловый цветок,  
Что зову я – Ночною Фиалкой.

За болотом остался мой город,  
Тот же вечер и та же заря.  
И, наверное, друг мой, шатаясь,  
Не однажды домой приходил  
И ругался, меня проклиная,  
И мертвецким сном засыпал.

Но столетья прошли,  
И продумал я думу столетий.  
Я у самого края земли,  
Одинокий и мудрый, как дети.  
Так же тих догорающий свод,  
Тот же мир меня тягостный  
встретил.  
Но Ночная Фиалка цветет,  
И лиловый цветок ее светел.  
И в зеленой ласкающей мгле  
Слышу волн круговое движенье,  
И больших кораблей приближе-  
нье,  
Будто вести о новой земле.  
Так заветная прялка прядет



*Сон живой и мгновенный,  
Что нечаянно Радость придет  
И пребудет она совершенной.*

*И Ночная Фиалка цветет.*

**18** ноября 1905 – 6 мая 1906

**Вольные мысли[3]**

*(Посв. Г. Чулкову)*







## О смерти

*Все чаще я по городу брожу.  
Все чаще вижу смерть – и улыбаюсь  
Улыбкой рассудительной. Ну, что же?  
Так я хочу. Так свойственно мне  
знать,  
Что и ко мне придет она в свой  
час.*

*Я проходил вдоль скачек по шоссе.  
День золотой дремал на горах  
щебня,*

А за глухим забором – ипподром  
Под солнцем зеленел. Там стебли  
злаков  
И одуванчики, раздутые весной,  
В ласкающих лучах дремали. А  
вдали  
Трибуна придавила плоской кры-  
шей  
Толпу зевак и модниц, Маленькие  
флаги  
Пестрели там и здесь. А на заборе  
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон ко-  
ней  
По грунту легкому. И быстрый  
топот  
Копыт. Потом – внезапный крик:  
«Упал! Упал!» – кричали на заборе,  
И я, вскочив на маленький пенек,  
Увидел все зараз: вдали летели  
Жокеи в пестром – к тонкому  
столбу.  
Чуть-чуть отстав от них, скака-  
ла лошадь  
Без седока, взметая стремяна.  
А за листвой кудрявеньких бере-  
зок,

Так близко от меня – лежал жо-  
кей,  
Весь в желтом, в зеленях весенних  
злаков,  
Упавший навзничь, обратив лицо  
В глубокое ласкающее небо.  
Как будто век лежал, раскинув ру-  
ки  
И ногу подогнув. Так хорошо ле-  
жал.  
К нему уже бежали люди. Издалі,  
Поблескивая медленными спица-  
ми, ландо  
Катилось мягко. Люди подбежа-  
ли  
И подняли его...

И вот повисла  
Беспомощная желтая нога  
В обтянутой рейтузе. Завалилась  
Им на плечи куда-то голова...  
Ландо подъехало. К его подушкам  
Так бережно и нежно приложили  
Цыплячью желтизну жокея. Че-  
ловек  
Вскочил неловко на подножку, за-  
мер,  
Поддерживая голову и ногу,

*И важный кучер повернул назад.  
И так же медленно вертелась  
спица,  
Поблескивали козла, оси, крылья...*

*Так хорошо и вольно умереть.  
Всю жизнь скакал – с одной упор-  
ной мыслью,  
Чтоб первым доскакать. И на  
скаку  
Запнулась запыхавшаяся лошадь,  
Уж силой ног не удержат седла,  
И утлые взмахнулись стремяна,  
И полетел, отброшенный толч-  
ком...  
Ударился затылком о родную,  
Весеннюю, приветливую землю,  
И в этот миг – в мозгу прошли  
все мысли,  
Единственные нужные. Прошли —  
И умерли. И умерли глаза.  
И труп мечтательно глядит на-  
верх.*

*Так хороню и вольно.*

*Однажды брел по набережной я.  
Рабочие возили с барок в тачках*

Дрова, кирпич и уголь. И река  
Была еще синей от белой пены.  
В отстегнутые ворота рубах  
Глядели загорелые тела,  
И светлые глаза привольной Руси  
Блестели строго с почерневших  
лиц.

И тут же дети голыми ногами  
Месили груды желтого песку,  
Таскали – то кирпичик, то поле-  
но,

То бревнышко. И прятались. А  
там

Уже сверкали грязные их пятки,  
И матери – с отвислыми грудями  
Под грязным платьем – ждали  
их, ругались

И, надавав затрещин, отбирали  
Дрова, кирпичики, бревёшки. И та-  
щили,

Согнувшись под тяжелой ношей,  
вдаль.

И снова, воротясь гурьбой весе-  
лой,

Ребятки начинали воровать:  
Тот бревнышко, другой – кирпи-  
чик...



*И вдруг раздался всплеск воды и крик:*

*«Упал! Упал!» – опять кричали с барки.*

*Рабочий, ручку тачки отпустив,  
Показывал рукой куда-то в воду,  
И пестрая толпа рубах неслась  
Туда, где на траве, в камнях бу-  
лыжных,*

*На самом берегу – лежала сотка  
[4].*

*Один тащил багор.*

*А между свай,  
Забитых возле набережной в воду,  
Легко покачивался человек  
В рубахе и в разорванных портках.  
Один схватил его. Другой помог,  
И длинное растянутое тело,  
С которого ручьем лилась вода,  
Втащили на берег и положили.  
Городовой, гремя о камни шаш-  
кой,*

*Зачем-то щеку приложил к груди  
Намокшей и прилежно слушал,  
Должно быть, сердце. Собрался  
народ,*

*И каждый вновь пришедший зада-*

вал

Одни и те же глупые вопросы:  
Когда упал, да сколько пролежал  
В воде, да сколько выпил?

Потом все стали тихо отходить,  
И я пошел своим путем, и слушал,  
Как истовый, но выпивший рабо-  
чий

Авторитетно говорил другим,  
Что губит каждый день людей  
вино.

Пойду еще бродить. Покуда солн-  
це,  
Покуда жар, покуда голова  
Тупа и мысли вялы...

Сердце!

Ты будь вожатаем моим. И  
смерть

С улыбкой наблюдай. Само уста-  
нешь,

Не вынесешь такой веселой жиз-  
ни,

Какую я веду. Такой любви

И ненависти люди не выносят,  
Какую я в себе ношу.

Хочу,  
Всегда хочу смотреть в глаза  
людские,  
И пить вино, и женщин целовать,  
И яростью желаний полнить ве-  
чер,  
Когда жара мешает днем меч-  
тать  
И песни петь! И слушать в мире  
ветер!

### Над озером



С вечерним озером я разговор веду  
Высоким ладом песни. В тонкой

чаще  
Высоких сосен, с выступов песчаных,  
Из-за могил и склепов, где огни  
Лампад и сумрак дымно-сизый, —  
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит – и не надо.  
Как женщина усталая, оно  
Раскинулось внизу и смотрит в небо,  
Туманится, и даль поит туманом,  
И отняло у неба весь закат.  
Все исполняют прихоти его:  
Та лодка узкая, ласкающая гладь,  
И тонкоствольный строй сосновой рощи,  
И семафор на дальнем берегу,  
В нем отразивший свой огонь зеленый —  
Как раз на самой розовой воде.  
К нему ползет трехглазая змея  
Своим единственным стальным путем,  
И, прежде свиста, озеро доносит  
Ко мне – ее ползучий, хриплый шум.

Я на уступе. Надо мной – могила  
Из темного гранита. Подо  
мной —  
Белеющая в сумерках дорожка.  
И кто посмотрит снизу на меня,  
Тот испугается: такой я непо-  
движный,  
В широкой шляпе, средь ночных  
могил,  
Скрестивший руки, стройный и  
влюбленный в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут  
Влюбленные друг в друга: нет им  
дела  
До озера, которое внизу,  
И до меня, который наверху.  
Им нужны человеческие вздохи,  
Мне нужны вздохи сосен и воды.  
А озеру – красавице – ей нужно,  
Чтоб я, никем не видимый, запел  
Высокий гимн о том, как ясны зо-  
ри,  
Как стройны сосны, как вольна  
душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,  
Белей туман. И девичьего платья

Я вижу складки легкие внизу.  
Задумчиво прошла она дорожку  
И одиноко села на ступеньки  
Могилы, не заметивши меня...  
Я вижу легкий профиль. Пусть не  
знает,  
Что знаю я, о чем пришла меч-  
тать  
Тоскующая девушка... Светлеют  
Все окна дальних дач: там – само-  
вары,  
И синий дым сигар, и плоский  
смех...  
Она пришла без спутников сюда...  
Наверное, наверное прогонит  
Затянутого в китель офицера  
С вихляющим задом и ногами,  
Завернутыми в трубочки шта-  
нов!  
Она глядит как будто за тума-  
ны,  
За озеро, за сосны, за холмы,  
Куда-то так далеко, так далеко,  
Куда и я не в силах заглянуть...  
О, нежная! О, тонкая! – И быстро  
Ей мысленно приискиваю имя:  
Будь Аделиной! Будь Марией! Тек-  
лой!

Да, Теклой!.. – И задумчиво глядит

В клубящийся туман... Ах, как прогонит!..

А офицер уж близко: белый китель,

Над ним усы и пуговица-нос,  
И плоский блин, приплюснутый  
фуражкой...

Он подошел... он жмет ей руку!..  
смотрят

Его гляделки в ясные глаза!..

Я даже выдвинулся из-за sklepa...

И вдруг... протяжно чмокает ее,  
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю  
В них шишками, песком, визжу,  
пляшу

Среди могил – незримый и высокий...

Кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!» – И они  
Испуганы, сконфужены, не знают,  
Откуда шишки, хохот и песок...

Он ускоряет шаг, не забывая  
Вихлять проворно задом, и она,  
Прижавшись крепко к кителю, почти

Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!

И, выбегая на крутой обрыв,  
Я отражаюсь в озере... Мы видим  
Друг друга: «Здравствуй!» – я кричу...

И голосом красавицы – леса  
Прибрежные отвечают мне:  
«Здравствуй!»

Кричу: «Прощай!» – они кричат:  
«Прощай!»

Лишь озеро молчит, влача туманы,

Но явственно на нем отражены

И я, и все союзники мои:

Ночь белая, и Бог, и твердь, и сосны...

И белая задумчивая ночь

Несет меня домой. И ветер свищет

В горячее лицо. Вагон летит...

И в комнате моей белеет утро.

Оно на всем: на книгах и столах,

И на постели, и на мягком кресле:

И на письме трагической актри-



сы:

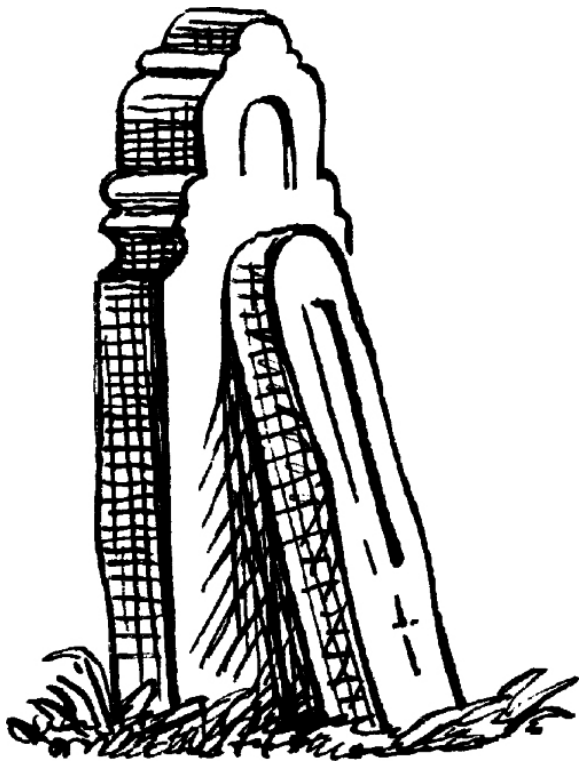
*«Я вся усталая. Я вся больная.  
Цветы меня не радуют. Пишите...*

*Простите и сожгите этот  
бред...»*

*И томные слова... И длинный по-  
черк,  
Усталый, как ее усталый шлейф...  
И томностью пылающие буквы,  
Как яркий камень в черных воло-  
сах.*

**Ш**увалово

**В северном море**



*Что сделали из берега морского  
Гуляющие модницы и франты?*



*Наставили столов, дымят, жу-  
ют,  
Пьют лимонад. Потом бредут по  
пляжу,  
Угрюмо хохоча и заражая  
Соленый воздух сплетнями. По-  
том  
Погонщики вывозят их в кибит-  
ках,  
Кокетливо закрытых парусиной,  
На мелководье. Там, переменяв  
Забавные тальеры[5] и мундиры  
На легкие купальные костюмы,  
И дряблость мускулов и грудей*

обнажив,  
Они, визжа, влезают в воду. Ша-  
рят  
Неловкими ногами дно. Кричат,  
Стараясь показать, что веселят-  
ся.

А там – закат из неба сотворил  
Глубокий многоцветный кубок.

Руки

Одна заря закинула к другой,  
И сестры двух небес прядут  
один —

То розовый, то голубой туман.  
И в море утопающая туча  
В предсмертном гневе мечет из  
очей

То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в мо-  
ре,

Подгнившего, сереющего мола,  
Прочтя все надписи: «Навек с то-  
бой»,

«Здесь были Коля с Катей», «Дио-  
дор

Иеромонах и послушник Исидор  
Здесь были. Дивны Божий дела», —

Прочтя все надписи, выходим в  
море  
В пузатой и смешной моторной  
лодке.

Бензин пыхтит и пахнет. Два  
крыла  
Бегут в воде за нами. Вьется  
быстрый след,  
И, обогнув скучающих на пляже,  
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,  
Мы выбегаем многоцветной ря-  
бью  
В просторную ласкающую соль.

На горизонте, за спиной, далеко  
Безмолвным заревом стоит по-  
жар.  
Рыбачий Вольный остров распро-  
стерт  
В воде, как плоская спина морско-  
го  
Животного. А впереди, вдали —  
Огни судов и сноп лучей бродячих  
Прожектора таможенного суд-  
на.  
И мы уходим в голубой туман.  
Косым углом торчат над морем

вехи,  
Метелками фарватер оградив.  
И далекó – от вехи и до вехи —  
Рыбачьих шхун маячат паруса...

Над морем – штиль. Под всеми  
парусами  
Стоит красавица – морская яхта.  
На тонкой мачте – маленький  
фонарь,  
Что камень драгоценный феро-  
ньеры[6],  
Горит над матовым челом небес.

На острогрудой, в полной тиши-  
не,  
В причудливых сплетениях сна-  
стей,  
Сидят, скрестивши руки, люди в  
светлых  
Панамах, сдвинутых на строгие  
черты.  
А посреди, у самой мачты, молча,  
Стоит матрос, весь темный, и  
глядит.

Мы огибаем яхту, как прилично,  
И вежливо и тихо говорит

Один из нас: «Хотите на буксир?»  
И с важной простотой нам отве-  
чает  
Суровый голос: «Нет. Благодарю».

И, снова обогнув их, мы глядим  
С молитвенной и полной душою  
На тихо уходящий силуэт  
Красавицы под всеми парусами...  
На драгоценный камень феронье-  
ры,  
Горящий в смуглых сумерках че-  
ла.

Строрецкий курорт



## В Дюнах

Я не люблю пустого словаря  
Любовных слов и жалких выраже-  
ний:  
«Ты мой», «Твоя», «Люблю», «Наве-



ки твой».

Я рабства не люблю. Свободным  
взором  
Красивой женщине смотрю в гла-  
за  
И говорю: «Сегодня ночь. Но зав-  
тра —  
Сияющий и новый день. Приди.  
Бери меня, торжественная  
страсть.  
А завтра я уйду – и запою».

Моя душа проста. Соленый ветер  
Морей и смольный дух сосны



Ее питал. И в ней – все те же зна-  
ки,  
Что на моем обветренном лице.  
И я прекрасен – нищей красотой  
Зыбучих дюн и северных морей.

Так думал я, блуждая по границе  
Финляндии, вникая в темный го-  
вор  
Небритых и зеленоглазых финнов.  
Стояла тишина. И у платформы  
Готовый поезд разводил пары.  
И русская таможенная стража  
Лениво отдыхала на песчаном  
Обрыве, где кончалось полотно.  
Там открывалась новая страна —  
И русский бесприютный храм гля-  
дел  
В чужую, незнакомую страну.

Так думал я. И вот она пришла  
И встала на откосе. Были рыжи  
Ее глаза от солнца и песка.  
И волосы, смолистые как сосны,  
В отливах синих падали на плечи.  
Пришла. Скрестила свой звериный  
взгляд  
С моим звериным взглядом. За-

смеялась  
Высоким смехом. Бросила в меня  
Пучок травы и золотую горсть  
Песку. Потом – вскочила  
И, прыгая, помчалась под откос...

Я гнал ее далеко. Исцарапал  
Лицо о хвои, окровавил руки  
И платье изорвал. Кричал и гнал  
Ее, как зверя, вновь кричал и звал,  
И страстный голос был как звуки  
рога.

Она же оставляла легкий след  
В зыбучих дюнах, и пропала в сос-  
нах,  
Когда их заплела ночная синь.

И я лежу, от бега задыхаясь,  
Один, в песке. В пылающих глазах  
Еще бежит она – и вся хохочет:  
Хохочут волосы, хохочут ноги,  
Хохочет платье, вздутое от бе-  
га...

Лежу и думаю: «Сегодня ночь  
И завтра ночь. Я не уйду отсюда,  
Пока не затравлю ее, как зверя,  
И голосом, зовущим, как рога,  
Не прегражу ей путь.» И не скажу:

*«Моя! Моя!» – И пусть она мне  
крикнет:  
«Твоя! Твоя!»*

**Д**<sup>юны</sup>  
*Июнь – июль 1907*

## **Возмездие[7]**

*Юность – это возмездие.[8]*  
Ибсен



**Предисловие**



е чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы.

Интересно и бесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и – увы! – забыть их нельзя, – они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах.

Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы?

1910 год – это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сце-

не; с Врубелем – громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий – вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность – мудрая человечность.

Далее, 1910 год – это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек – но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».

Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было лег-

ко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также – в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.

Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего – противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жесткий голос Стриндберга, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года П. Н. Миллюков[9] прочел интереснейшую лекцию под заглавием «Вооруженный мир и сокращение вооружений». В одной из московских газет появилась пророческая статья: «Близость большой войны». В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского[10], и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море – разыгрался знаменательный эпизод «Пантера – Агадир»[11].



Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней; среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты.

В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой, – падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов.

Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции.

Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.

Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.

Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились все уже и уже, и самый маленький круг, съезжившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался, – в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас; тогда это присутствовало преимущественно в понятии музыкальном и мускульном; о мускульном сознании я говорю недаром, потому что в то время все движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось

с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые – бицепсы, а потом уже – постепенно – более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема.

Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).

Словом, мировой водоворот засасывает в

свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек – и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человеческой ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...

Что же дальше? Не знаю и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса.

Такую идею я хотел воплотить в моих «Rougon-Macquar'ax»[12] в малом масштабе, в

коротком обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: «Два-три звена, и уж видны заветы темной старины»... Путем катастроф и падений мои «Rougon-Macquar'ы» постепенно освобождаются от русско-дворянского *éducation sentimentale*[13], «уголь превращается в алмаз», Россия – в новую Америку; в новую, а не в старую Америку.

Поэма должна была состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон.

Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремлениями, притупленными, однако, болезнью века, начинающимся *fin de siècle*[14][15].

Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого «демо-

на», наследнику его мятежных порывов и болезненных падений, – бесчувственному сыну нашего века. Это – тоже лишь одно из звеньев длинного рода; от него тоже не останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.

В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что случилось с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву – кажущуюся сначала «задворками России», а потом призванную, по-видимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой Богом и истерзанной Польши. Тут, над свежей могилой отца, заканчивается развитие и жизненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающего и низко падающего рода.

В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях

простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».

Вот, по-видимому, круг человеческой жизни, съезжившийся до предела, последнее звено длинной цепи; тот круг, который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю.

Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот лейтмотив есть *мазурка*, танец, который носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской

квартиры – глухие 70-е годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского fin de siècle, знаменитой veuve Clicquot [16]; еще более глухие – цыганские, апухтинские годы[17]; наконец, в третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия.

*12 июля 1919*

## Пролог





Жизнь – без начала и конца.  
Нас всех подстерегает случай.  
Над нами – сумрак неминуемый,  
Иль ясность Божьего лица.  
Но ты, художник, твердо веруй  
В начала и концы. Ты знай,  
Где стерегут нас ад и рай.  
Тебе дано бесстрастной мерой  
Измерить все, что видишь ты.  
Твой взгляд – да будет тверд и  
ясен.

Сотри случайные черты —  
И ты увидишь: мир прекрасен.  
Познай, где свет, – поймешь, где  
тьма.  
Пускай же все пройдет неспешно,  
Что в мире свято, что в нем  
грешно,  
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.  
Так Зигфрид[18] правит меч над  
горном:  
То в красный уголь обратит,  
То быстро в воду погрузит —  
И зашипит, и станет черным  
Любимцу вверенный клинок...  
Удар – он блещет, Нотунг[19] вер-  
ный,  
И Миме, карлик лицемерный,

*В смятеньи падает у ног!*

*Кто меч скует? – Не знавший  
страха.*

*А я беспомощен и слаб,  
Как все, как вы, – лишь умный раб,  
Из глины созданный и праха, —  
И мир – он страшен для меня.  
Герой уж не разит свободно, —  
Его рука – в руке народной,  
Стоит над миром столб огня,  
И в каждом сердце, в мысли каж-  
дой —*

*Свой произвол и свой закон...*

*Над всей Европою дракон,  
Разинув пасть, томится жажд-  
дой...*

*Кто нанесет ему удар?...*

*Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль туман-  
ном,*

*И пахнет гарью. Там – пожар.*

*Но песня – песнью все пребудет,  
В толпе все кто-нибудь поет.*

*Вот – голову его на блюде*

*Царю плясунья подает;*

*Там – он на эшафоте черном*

Слагает голову свою;  
Здесь – именем клеймят позор-  
ным  
Его стихи... И я пою, —  
Но не за вами суд последний,  
Не вам замкнуть мои уста!..  
Пусть церковь темная пуста,  
Пусть пастырь спит; я до обедни  
Пройду росистую между,  
Ключ ржавый поверну в затворе  
И в алом от зари притворе  
Свою обедню отслужу.

Ты, поразившая Денницу[20],  
Благослови на здешний путь!  
Позволь хоть малую страницу  
Из книги жизни повернуть.  
Дай мне неспешно и нелживо  
Поведать пред Лицом Твоим  
О том, что мы в себе таим,  
О том, что в здешнем мире живо,  
О том, как зреет гнев в сердцах,  
И с гневом – юность и свобода,  
Как в каждом дышит дух народа.  
Сыны отражены в отцах:  
Коротенький обрывок рода —  
Два-три звена, – и уж ясны  
Заветы темной старины:

Созрела новая порода, —  
Угль превращается в алмаз.  
Он, под киркой трудолюбивой,  
Восстав из недр неторопливо,  
Предстанет — миру напоказ!  
Так бей, не знай отдохновенья,  
Пусть жила жизни глубока:  
Алмаз горит издалека —  
Дроби, мой гневный ямб, камняя!

## Первая глава



Век девятнадцатый, железный,  
Воистину жестокий век!  
Тобою в мрак ночной, беззвездный  
Беспечный брошен человек!

В ночь умозрительных понятий,  
Матерьялистских малых дел,  
Бессильных жалоб и проклятий  
Бескровных душ и слабых тел!  
С тобой пришли чуме на смену  
Нейрастения, скука, сплин,  
Век расшибанья лбов о стену  
Экономических доктрин,  
Конгрессов, банков, федераций,  
Застольных спичей, красных слов,  
Век акций, рент и облигаций,  
И малодейственных умов,  
И дарований половинных  
(Так справедливей – пополам!),  
Век не салонов, а гостиных,  
Не Рекамье[21], – а просто дам...  
Век буржуазного богатства  
(Растущего незримо зла!).

Под знаком равенства и брат-  
ства  
Здесь зрели темные дела...  
А человек? – Он жил безвольно:  
Не он – машины, города,  
«Жизнь» так бескровно и безболь-  
но  
Пытала дух, как никогда...  
Но тот, кто двигал, управляя

Марионетками всех стран, —  
Тот знал, что делал, насылая  
Гуманистический туман:  
Там, в сером и гнилом тумане,  
Увяла плоть, и дух погас,  
И ангел сам священной брани,  
Казалось, отлетел от нас:  
Там – распри кровные решают  
Дипломатическим умом,  
Там – пушки новые мешают  
Сойтись лицом к лицу с врагом,  
Там – вместо храбрости – нахальство,  
А вместо подвигов – «психоз»,  
И вечно ссорится начальство,  
И длинный громоздкóй обоз  
Волóчит за собой команда,  
Штаб, интендантов, грязь кляня,  
Рожком горниста – рог Роланда  
И шлем – фуражкой заменя...  
Тот век немало проклинали  
И не устанут проклипать.  
И как избыть его печали?  
Он мягко стлал – да жестко  
спать...

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла

(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне),  
Кометы грозной и хвостатой  
Ужасный призрак в вышине,  
Безжалостный конец Мессины[22]  
(Стихийных сил не превозмочь),  
И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь,  
Сознание страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер,  
И первый взлет аэроплана  
В пустыню неизвестных сфер...  
И отвращение от жизни.  
И к ней безумная любовь,  
И страсть и ненависть к отчиз-  
не...  
И черная, земная кровь  
Сулит нам, раздувая вены,  
Все разрушая рубежи,  
Неслыханные перемены,  
Невиданные мятежи...  
Что ж, человек? – За ревом ста-  
ли,  
В огне, в пороховом дыму,  
Какие огненные дали  
Открылись взору твоему?

*О чем – машин немолчный скрежет?*

*Зачем – пропеллер, воя, режет  
Туман холодный – и пустой?*

*Теперь – за мной, читатель мой,  
В столицу севера больную,  
На отдаленный финский брег!*

*Уж осень семьдесят восьмую  
Дотягивает старый век.  
В Европе спорится работа,  
А здесь – по-прежнему в болото  
Глядит унылая заря...*

*Но в половине сентября  
В тот год, смотри, как солнца  
много!*

*Куда народ валит с утра?  
И до заставы всю дорогу  
Горохом сыплется ура,  
И Забалканский, и Сенная  
Кишат полицией, толпой,  
Крик, давка, ругань площадная...  
За самой городской чертой,  
Где светится золотоголовый  
Новодевичий монастырь,  
Заборы, бойни и пустырь  
Перед Московскою заставой, —*



Стена народу, тьма карет,  
Пролетки, дрожки и коляски,  
Султаны, кивера и каски,  
Царица, двор и высший свет!  
И пред растроганной царицей,  
В осенней солнечной пыли,  
Войска проходят вереницей  
От рубежей чужой земли...  
Идут, как будто бы с парада.  
Иль не оставили следа  
Недавний лагерь у Царьграда,  
Чужой язык и города?  
За ними – снежные Балканы,  
Три Плевны, Шипка и Дубняк,  
Незаживающие раны,  
И хитрый и неслабый враг...  
Вон – павловцы, вон – гренадеры  
По пыльной мостовой идут;  
Их лица строги, груди серы,  
Блестит Георгий там и тут,  
Разрежены их батальоны,  
Но уцелевшие в бою  
Теперь под рваные знамена  
Склонили голову свою...  
Конец тяжелого похода,  
Незабываемые дни!  
Пришли на родину они,  
Они – среди своего народа!

Чем встретит их родной народ?  
Сегодня – прошлому забвенью,  
Сегодня – тяжкие виденья  
Войны – пусть ветер разнесет!  
И в час торжественный возврата  
Они забыли обо всем:  
Забыли жизнь и смерть солдата  
Под неприятельским огнем,  
Ночей, для многих – без рассвета,  
Холодную, немую твердь,  
Подстерегающую где-то —  
И настигающую смерть,  
Болезнь, усталость, боль и голод,  
Свист пуль, тоскливый вой ядра,  
Зальдевших ложементов[23] хо-  
лод,  
Негреющий огонь костра,  
И даже – бремя вечной розни  
Среди штабных и строевых,  
И (может, горше всех других)  
Забыли интендантов козни...  
Иль не забыли, может быть? —  
Их с хлебом-солью ждут подносы,  
Им речи будут говорить,  
На них – цветы и папиросы  
Летят из окон всех домов...  
Да, дело трудное их – свято!  
Смотри: у каждого солдата

На штык надет букет цветов!  
У батальонных командиров —  
Цветы на седлах, чепраках[24],  
В петлицах выцветших мундиров,  
На конских челках и в руках...

Идут, идут... Едва к закату  
Придут в казармы: кто – сме-  
нять  
На ранах корзину и вату,  
Кто – на вечер лететь, пленять  
Красавиц, щеголять крестами,  
Слова небрежные ронять,  
Лениво шевеля усами  
Перед униженным «штрюком»  
[25],  
Играя новым темляком  
На алой ленточке, – как дети...  
Иль, в самом деле, люди эти  
Так интересны и умны?  
За что они вознесены  
Так высоко, за что в них вера?

В глазах любого офицера  
Стоят видения войны.  
На их, обычных прежде, лицах  
Горят заемные огни.  
Чужая жизнь свои страницы

Перевернула им. Они  
Все крещены огнем и делом;  
Их речи об одном твердят:  
Как Белый Генерал[26] на белом  
Коне, средь вражеских гранат,  
Стоял, как призрак невредимый,  
Шутя спокойно над огнем;  
Как красный столб огня и дыма  
Взвился над Горным Дубняком;  
О том, как полковое знамя  
Из рук убитый не пускал;  
Как пушку горными тропами  
Тащить полковник помогал;  
Как царский конь, храпя, запнулся  
Пред искалеченным штыком,  
Царь посмотрел и отвернулся,  
И заслонил глаза платком...  
Да, им известны боль и голод  
С простым солдатом наравне...  
Того, кто побыл на войне,  
Порой пронизывает холод —  
То роковое всё равно,  
Которое подготавливает  
Чреду событий мировых  
Лишь тем одним, что не меша-  
ет...  
Все отразится на таких  
Полубезумною насмешкой...

И власть торопится скорей  
Всех тех, кто перестал быть  
пешкой,  
В тур превращать, или в коней...

А нам, читатель, не пристало  
Считать коней и тур никак,  
С тобой нас нынче затесало  
В толпу глазующих зевак,  
Нас вовсе ликование это  
Заставило забыть вчера...  
У нас в глазах пестрит от света,  
У нас в ушах гремит ура!  
И многие, забывшись слишком,  
Ногами штатскими пылят,  
Подобно уличным мальчишкам,  
Близ марширующих солдат,  
И этот чувств прилив мгновен-  
ный  
Здесь – в петербургском сентяб-  
ре!  
Смотри: глава семьи почтенный  
Сидит верхом на фонаре!  
Его давно супруга кличет,  
Напрасной ярости полна,  
И, чтоб услышал, зонтик тычет,  
Куда не след, ему она.  
Но он и этого не чувствует

И, несмотря на общий смех,  
Сидит, и в ус себе не дует,  
Каналья, видит лучше всех!..  
Прошли... В ушах лишь стонет  
эхо,  
А всё – не разогнать толпу;  
Уж с бочкой водовоз проехал,  
Оставив мокрую тропу,  
И ванька, тумбу огибая,  
Напер на барыню – орет  
Уже по этому случаю  
Бегущий подсобить народ  
(Городовой – свистки дает)...  
Проследовали экипажи,  
В казармах сыграна заря, —  
И сам отец семейства даже  
Полез послушно с фонаря,  
Но, расходясь, все ждут чего-то...  
Да, нынче, в день возврата их,  
Вся жизнь в столице, как пехота,  
Гремит по камню мостовых,  
Идет, идет – нелепым строем,  
Великолепна и шумна...

Пройдет одно – придет другое,  
Вглядись – уже не та она,  
И той, мелькнувшей, нет возвра-  
та,

Ты в ней – как в старой старине...

Замедлил бледный луч заката  
В высоком, невзначай, окне.  
Ты мог бы в том окне заметить  
За рамой – бледные черты,  
Ты мог бы некий знак заметить,  
Которого не знаешь ты,  
Но ты проходишь – и не взгля-  
нешь,  
Встречаешь – и не узнаешь,  
Ты за другими в сумрак канешь,  
Ты за толпой вослед пройдешь.  
Ступай, прохожий, без вниманья,  
Свой ус лениво теребя,  
Пусть встречный человек и зда-  
нье —  
Как все другие – для тебя.  
Ты занят всякими делами,  
Тебе, конечно, невдомек,  
Что вот за этими стенами  
И твой скрываться может рок...  
(Но если б ты умом раскинул,  
Забыв жену и самовар,  
Со страху ты бы рот разинул  
И сел бы прямо на троттуар!)

Смеркается. Спустились шторы.

Набита комната людьми,  
И за прикрытыми дверьми  
Идут глухие разговоры,  
И эта сдержанная речь  
Полна заботы и печали.  
Огня еще не зажигали  
И вовсе не спешат зажечь.  
В вечернем мраке тонут лица,  
Вглядись – увидишь ряд один  
Теней неясных, вереницу  
Каких-то женщин и мужчин.  
Собрание не многоречиво,  
И каждый гость, входящий в  
дверь,  
Упорным взглядом молчаливо  
Осматривается, как зверь.  
Вот кто-то вспыхнул папироской:  
Средь прочих – женщина сидит:  
Большой ребячий лоб не скрыт  
Простой и скромною прической,  
Широкий белый воротник  
И платье черное – все просто,  
Худая, маленького роста,  
Голубоокий детский лик,  
Но, как бы что найдя за далью,  
Глядит внимательно, в упор,  
И этот милый, нежный взор  
Горит отвагой и печалью...



Кого-то ждут... Гремит звонок.  
Неспешно отворяя двери,  
Гость новый входит на порог:  
В своих движениях уверен  
И статен; мужественный вид;  
Одет совсем как иностранец,  
Изысканно; в руке блестит  
Высокого цилиндра глянец;  
Едва заметно затемнен  
Взгляд карих глаз сурово-крот-  
кий;  
Наполеоновской бородкой  
Рот беспокойный обрамлен;  
Большеголовый, темновласый —  
Красавец вместе и урод:  
Тревожный передернут рот  
Меланхолической гримасой.

И сонм собравшихся затих...  
Два слова, два рукопожатья —  
И гость к ребенку в черном пла-  
тье  
Идет, минуя остальных...  
Он смотрит долго и любовно,  
И крепко руку жмет не раз,  
И молвит: «Поздравляю вас  
С побегом, Соня... Софья Львовна  
[27]!

Опять – на смертную борьбу!»  
И вдруг – без видимой причины —  
На этом странно-белом лбу  
Легли глубоко две морщины...

Заря погасла. И мужчины  
Вливают в чашу ром с вином,  
И пламя синим огоньком  
Под полной чашей побежало.  
Над ней кладут крестом кинжа-  
лы.

Вот пламя ширится – и вдруг,  
Взбежав над жженкой, задрожало

В глазах столпившихся вокруг...  
Огонь, борясь с толпою мраков,  
Лилово-синий свет бросал,  
Старинной песни гайдамаков  
Напев согласный зазвучал,  
Как будто – свадьба, новоселье,  
Как будто – всех не ждет гроза, —  
Такое детское веселье  
Зажгло суровые глаза...

Прошло одно – идет другое,  
Проходит пестрый ряд картин.  
Не замедляй, художник: вдвое  
Заплатишь ты за миг один

Чувствительного промедленья,  
И, если в этот миг тебя  
Грозит покинуть вдохновенье, —  
Пеняй на самого себя!  
Тебе единым на потребу  
Да будет – пристальность твоя.

В те дни под петербургским  
небом  
Живет дворянская семья.  
Дворяне – все родня друг другу,  
И приучили их века  
Глядеть в лицо другому кругу  
Всегда немного свысока.  
Но власть тихонько ускользала  
Из их изящных белых рук,  
И записались в либералы  
Честнейшие из царских слуг,  
А все в брезгливости природной  
Меж волей царской и народной  
Они испытывали боль  
Нередко от обеих воль.  
Все это может показаться  
Смешным и устарелым нам,  
Но, право, может только хам  
Над русской жизнью издеваться.  
Она всегда – меж двух огней.  
Не всякий может стать героем,

И люди лучшие – не скроем —  
Бессильны часто перед ней,  
Так неожиданно сурова  
И вечных перемен полна;  
Как вешняя река, она  
Внезапно тронуться готова,  
На льдины льдины громоздить  
И на пути своем крушить  
Виновных, как и невиновных,  
И нечиновных, как чиновных...

Так было и с моей семьей:  
В ней старина еще дышала  
И жить по-новому мешала,  
Вознаграждая тишиной  
И благородством запоздалым  
(Не так в нем вовсе толку мало,  
Как думать принято теперь,  
Когда в любом семействе дверь  
Открыта настежь зимней вьюге,  
И ни малейшего труда  
Не стоит изменить супруге,  
Как муж, лишившейся стыда).  
И нигилизм здесь был беззлобен,  
И дух естественных наук  
(Властей ввергающий в испуг)  
Здесь был религии подобен.  
«Семейство – вздор, семейство –

блажь», —

Любили здесь примолвить гневно,  
А в глубине души — все та ж  
«Княгиня Марья Алексевна»[28]...

Живая память старины  
Должна была дружить с неве-  
рьем —

И были все часы полны  
Каким-то новым «двоеверьем»,  
И заколдован был сей круг:  
Свои словечки и привычки,  
Над всем чужим — всегда кавычки,  
И даже иногда — испуг;

А жизнь меж тем кругом меня-  
лась,

И зашаталось все кругом,  
И ветром новое врывалось  
В гостеприимный старый дом:  
То нигилист в косоворотке  
Придет и нагло спросит водки,  
Чтоб возмутить семьи покой  
(В том видя долг гражданский  
свой),

А то — и гость весьма чиновный  
Вбежит совсем не хладнокровно  
С «Народной волею»[29] в руках —  
Советоваться впопыхах,  
Что неурядиц всех причиной?

Что́ предпринять пред «годовщи-  
ной»?

Как урезонить молодежь,  
Опять поднявшую галдеж? —  
Всем ведомо, что в доме этом  
И обласкают, и поймут,  
И благородным мягким светом  
Все осветят и обольют...

Жизнь старших близится к за-  
ту.

(Что ж, как полудня ни жалей,  
Не остановишь ты с полей  
Ползущий дым голубоватый.)  
Глава семьи – сороковых  
Годов соратник; он поныне,  
В числе людей передовых,  
Хранит гражданские святыни,  
Он с николаевских времен  
Стоит на страже просвещенья,  
Но в буднях нового движенья  
Немного заплутался он...  
Тургеневская безмятежность  
Ему сродни; еще вполне  
Он понимает толк в вине,  
В еде ценить умеет нежность;  
Язык французский и Париж  
Ему своих, пожалуй, ближе

(Как всей Европе: поглядишь —  
И немец грезит о Париже),  
И – ярый западник во всем —  
В душе он – старый барин русский,  
И убеждений склад французский  
Со многим не мирится в нем;  
Он на обедах у Бореля  
Брюзжит не плоше Щедрина:  
То – недоварены форели,  
А то – уха им не жирна.  
Таков закон судьбы железной:  
Нежданый, как цветок над без-  
дной,  
Очаг семейный и уют...

В семье нечопорно растут  
Три дочки: старшая – томится  
И над кипсэком мужа ждет,  
Второй – всегда не лень учиться,  
Меньшая – скачет и поет,  
Велит ей нрав живой и страст-  
ный  
Дразнить в гимназии подруг  
И косоцветкой ярко-красной  
Вводит начальницу в испуг...  
Вот подросли: их в гости водят,  
В карете возят их на бал;  
Уж кто-то возле окон ходит,

Меньшой записку подослал  
Какой-то юнкер шаловливый —  
И первых слез так сладок пыл,  
А старшей – чинной и стыдли-  
вой —  
Внезапно руку предложил  
Вихрастый идеальный мальчик;  
Ее готовят под венец...  
«Смотри, он дочку любит ма-  
ло, —  
Ворчит и хмурится отец, —  
Смотри, не нашего он круга...»  
И втайне с ним согласна мать,  
Но ревность к дочке друг от друга  
Они стараются скрывать...  
Торопит мать наряд венчальный,  
Приданое поспешно шьют,  
И на обряд (обряд печальный)  
Знакомых и родных зовут...  
Жених – противник всех обрядов  
(Когда «страдает так народ»).  
Невеста – точно тех же взглядов:  
Она – с ним об руку пойдет,  
Чтоб вместе бросить луч пре-  
красный,  
«Луч света в царство тьмы»  
[30]  
(И лишь венчаться не согласна



Без флер д'оранжа и фаты).

Вот – с мыслью о гражданском  
браке,  
С челом мрачнее сентября,  
Нечесанный, в нескладном фраке  
Он предстоит у алтаря,  
Вступая в брак «принципиаль-  
но», —  
Сей новоявленный жених.  
Священник старый, либеральный,  
Рукой дрожащей крестит их,  
Ему, как жениху, невнятны  
Произносимые слова,  
А у невесты – голова  
Кружится; розовые пятна  
Пылают на ее щеках,  
И слезы тают на глазах...

Пройдет неловкая минута —  
Они воротятся в семью,  
И жизнь, при помощи уюта,  
В свою вернется колею;  
Им рано в жизнь; еще не скоро  
Здоровым горбиться плечам;  
Не скоро из ребячьих споров  
С товарищами по ночам  
Он выйдет, честный, на соломе

В мечтах почиющий жених...  
В гостеприимном добром доме  
Найдется комната для них,  
А разрушение уклада  
Ему, пожалуй, не к лицу:  
Семейство просто будет радо  
Ему, как новому жильцу,  
Все обойдется понемногу:  
Конечно, младшей по нутру  
Народницей и недотрогой  
Дразнить замужнюю сестру,  
Второй – краснеть и заступать-  
ся,  
Сестру резоня и уча,  
А старшей – томно забываться,  
Склонясь у мужнина плеча;  
Муж в это время спорит втуне,  
Вступая в разговор с отцом  
О сощьялизме, о коммуне,  
О том, что некто – «подлецом»  
Отныне должен называться  
За то, что совершил донос...  
И вечно будет разрешаться  
«Проклятый и больной вопрос»...

Нет, вешний лед круша, не смоем  
Их жизни быстрая река:  
Она оставит на покое

И юношу, и старика —  
Смотреть, как будет лед носить-  
ся,  
И как ломаться будет лед,  
И им обоим будет сниться,  
Что их «народ зовет вперед»...  
Но эти детские химеры  
Не помешают наконец  
Кой-как приобрести манеры  
(От этого не прочь отец),  
Косоворотку на манишку  
Сменить, на службу поступить,  
Произвести на свет мальчишку,  
Жену законную любить,  
И, на посту не стоя «славно»,  
Прекрасно исполнять свой долг  
И быть чиновником исправным,  
Без взяток видя в службе толк...  
Да, этим в жизнь – до смерти ра-  
но;  
Они похожи на ребят:  
Пока не крикнет мать, – шалят;  
Они – «не моего романа»[31]:  
Им – все учиться, да болтать,  
Да услаждать себя мечтами,  
Но им навеки не понять  
Тех, с обреченными глазами:  
Другая статъ, другая кровь —

*Иная (жалкая) любовь...*

*Так жизнь текла в семье. Качали  
Их волны. Вешняя река  
Неслась – темна и широка,  
И льдины грозно нависали,  
И вдруг, помедлив, огибали  
Сию старинную ладью...  
Но скоро пробил час туманный —  
И в нашу дружную семью  
Явился незнакомец странный.*

*Встань, выйди поутру на луг:  
На бледном небе ястреб кружит,  
Чертя за кругом плавный круг,  
Высматривая, где похуже  
Гнездо припрятано в кустах...  
Вдруг – птичий щебет и движе-  
нье...  
Он слушает... еще мгновенье —  
Слетает на прямых крылах...  
Тревожный крик из гнезд сосед-  
них,  
Печальный писк птенцов послед-  
них,  
Пух нежный по ветру летит —  
Он жертву бедную когтит...  
И вновь, взмахнув крылом огром-*

ным,  
Взлетел – чертит за кругом  
круг,  
Несытым оком и бездомным  
Осматривать пустынный луг...  
Когда ни взглянешь, – кружит,  
кружит...

Россия-мать, как птица, тужит  
О детях; но – ее судьба,  
Чтоб их терзали ястреба.

На вечерах у Анны Вревской[32]  
Был общества отборный цвет.  
Больной и грустный Достоевский  
Ходил сюда на склоне лет  
Суровой жизни скрасить бремя,  
Набраться сведений и сил  
Для «Дневника». (Он в это время  
С Победоносцевым дружил.)  
С простертой дланью вдохновен-  
но  
Полонский здесь читал стихи.  
Какой-то экс-министр смиренно  
Здесь исповедовал грехи.  
И ректор университета  
Бывал ботаник здесь Бекетов,  
И многие профессора,

И слуги кисти и пера,  
И также – слуги царской власти,  
И недруги ее отчасти,  
Ну, словом, можно встретить  
здесь

Различных состояний смесь.

В салоне этом без утайки,

Под обаянием хозяйки,

Славянофил и либерал

Взаимно руку пожимал

(Как, впрочем, водится издавна

У нас, в России православной:

Всем, слава Богу, руку жмут).

И всех – не столько разговором,

Сколь оживленностью и взо-

ром, —

Хозяйка в несколько минут

К себе привлечь могла на диво.

Она, действительно, слыла

Обворожительно-красивой,

И вместе – добрая была.

Кто с Анной Павловной был свя-

зан, —

Всяк помянет ее добром

(Пока еще молчать обязан

Язык писателей о том).

Вмещал немало молодежи

Ее общественный салон:

Иные – в убеждениях схожи,  
Тот – попросту в нее влюблен,  
Иной – с конспиративным де-  
лом...

И всем нужна она была,  
Все приходили к ней, – и смело  
Она участие брала  
Во всех вопросах без изъятья,  
Как и в опасных предприятиях...  
К ней также из семьи моей  
Всех трех возили дочерей.

Средь пожилых людей и чинных,  
Среди зеленых и невинных —  
В салоне Вревской был как свой  
Один ученый молодой.  
Непринужденный гость, привыч-  
ный —  
Он был со многими на «ты».  
Его отмечены черты  
Печатью не совсем обычной.  
Раз (он гостиной проходил)  
Его заметил Достоевский.  
«Кто сей красавец? – он спросил  
Негромко, наклонившись к Врев-  
ской: —  
Похож на Байрона». – Слово  
Крылатое все подхватили,

И все на новое лицо  
Свое вниманье обратили.  
На сей раз милостив был свет,  
Обыкновенно – столь упрямый;  
«Красив, умен» – твердили дамы,  
Мужчины морщились: «поэт»...  
Но если морщатся мужчины,  
Должно быть, зависть их берет...  
А чувств прекрасной половины  
Никто, сам черт, не разберет...  
И дамы были в восхищеньи:  
«Он – Байрон, значит – демон...» –  
Что ж?  
Он впрямь был с гордым лордом  
схож  
Лица надменным выраженьем  
И чем-то, что хочу назвать  
Тяжелым пламенем печали.  
(Вообще, в нем странность заме-  
чали —  
И всем хотелось замечать.)  
Пожалуй, не было, к несчастью,  
В нем только воли этой... Он  
Одной какой-то тайной стра-  
стью,  
Должно быть, с лордом был срав-  
нен:  
Потомок поздний поколений,



В которых жил мятежный пыл  
Нечеловеческих стремлений, —  
На Байрона он походил,  
Как брат болезненный на брата  
Здорового порой похож:  
Тот самый отсвет красноватый,  
И выраженье власти то же,  
И то же порыванье к бездне.  
Но – тайно околдован дух  
Усталым холодом болезни,  
И пламень действенный потух,  
И воли бешеной усилья  
Отягчены сознанием.  
Так  
Вращает хищник мутный зрак,  
Больные расправляя крылья.

«Как интересен, как умен», —  
За общим хором повторяет  
Меньшая дочь. И уступает  
Отец. И в дом к ним приглашен  
Наш новоявленный Байрон.  
И приглашенье принимает.

В семействе принят, как родной,  
Красивый юноша. Вначале  
В старинном доме над Невой  
Его, как гостя, привечали,

Но скоро стариков привлек  
Его дворянский склад старинный,  
Обычай вежливый и чинный:  
Хотя свободен и широк  
Был новый лорд в своих воззре-  
ниях,  
Но вежливость он соблюдал  
И дамам ручки целовал  
Он без малейшего презренья.  
Его блестящему уму  
Противоречия прощали,  
Противоречий этих тьму  
По доброте не замечали,  
Их затмевал таланта блеск,  
В глазах какое-то горенье...  
(Ты слышишь сбитых крыльев  
треск? —  
То хищник напрягает зренье...)  
С людьми его еще тогда  
Улыбка юности роднила,  
Еще в те ранние года  
Играть легко и можно было...  
Он тьмы своей не ведал сам...

Он в доме запросто обедал  
И часто всех по вечерам  
Живой и пламенной беседой  
Пленял. (Хоть он юристом был,

Но поэтическим примером  
Не брезговал: Констан[33] дру-  
жил

В нем с Пушкиным, и Штейн[34] –  
с Флобером.)

Свобода, право, идеал —  
Все было для него не шуткой,  
Ему лишь было втайне жутко:  
Он, утверждая, отрицал  
И утверждал он, отрицая.  
(Все б – в крайностях бродить  
уму,

А середина золотая  
Все не давалась ему!)  
Он ненавистное – любовью  
Искал порою окружить,  
Как будто труп хотел налить  
Живой, играющею кровью...  
«Талант» – твердили все во-  
круг, —

Но, не гордясь (не уступая),  
Он странно омрачался вдруг...  
Душа больная, но молодая,  
Страшась себя (она права),  
Искала утешенья: чужды  
Ей становились все слова...  
(О, пыль словесная! Что нужды  
В тебе? – Утешись ты едва ль,

Едва ли разрешишь ты муки!) —  
И на покорную рояль  
Властительно ложились руки,  
Срывая звуки, как цветы,  
Безумно, дерзостно и смело,  
Как женских тряпок лоскуты  
С готового отдаться тела...  
Прядь упала на чело...  
Он сотрясался в тайной дрожи...  
(Все, все – как в час, когда на ложе  
Двоих желание сплело...)  
И там – за бурей музыкальной —  
Вдруг возникал (как и тогда)  
Какой-то образ – грустный, даль-  
ный,  
Непостижимый никогда...  
И крылья белые в лазури,  
И неземная тишина...  
Но эта тихая струна  
Тонула в музыкальной буре...

Что ж стало? – Все, что быть  
должно:

Рукопожатья, разговоры,  
Потупленные долу взоры...  
Грядущее отделено  
Едва приметною чертою  
От настоящего... Он стал

Своим в семье. Он красотой  
Меньшую дочь очаровал.  
И царство (царством не владея)  
Он обещал ей. И ему  
Она поверила, бледнея...  
И дом ее родной в тюрьму  
Он превратил (хотя нимало  
С тюрьмой не сходствовал сей  
дом...).

Но чуждо, пусто, дико стало  
Все, прежде милое, кругом —  
Под этим странным обаяньем  
Сулящих новое речей,  
Под этим демонским мерцаньем  
Сверлящих пламенем очей...  
Он — жизнь, он — счастье, он — сти-  
хия,

Она нашла героя в нем, —  
И вся семья, и все родные  
Претят, мешают ей во всем,  
И все ее волненье множит...  
Она не ведает сама,  
Что уж кокетничать не может.  
Она — почти сошла с ума...  
А он? —

Он медлит; сам не знает,  
Зачем он медлит, для чего?  
И ведь нимало не прельщает

Армейский демонизм его...  
Нет, мой герой довольно тонок  
И прозорлив, чтобы не знать,  
Как бедный мучится ребенок,  
Что счастье ребенку дать —  
Теперь – в его единой власти...  
Нет, нет... но замерли в груди  
Доселе пламенные страсти,  
И кто-то шепчет: погоди...  
То – ум холодный, ум жестокий  
Вступил в нежданные права...  
То – муку жизни одинокой  
Предугадала голова...  
«Нет, он не любит, он играет, —  
Твердит она, судьбу кляня, —  
За что терзает и пугает  
Он беззащитную, меня...  
Он объяснения не торопит,  
Как будто сам чего-то ждет...»  
(Смотри: так хищник силы ко-  
пит:  
Сейчас – больным крылом взмах-  
нет,  
На луг опустится бесшумно  
И будет пить живую кровь  
Уже от ужаса – безумной,  
Дрожащей жертвы...) – Вот – лю-  
бовь

Того вампирственного века,  
Который превратил в калек  
Достойных званья человека!

Будь трижды проклят, жалкий  
век!

Другой жених на этом месте  
Давно отряс бы прах от ног,  
Но мой герой был слишком че-  
стен  
И обмануть ее не мог:  
Он не гордился нравом стран-  
ным,  
И было знать ему дано,  
Что демоном и Дон-Жуаном  
В тот век вести себя – смешно...  
Он много знал – себе на горе,  
Слывя недаром «чудаком»  
В том дружном человечьем хоре,  
Который часто мы зовем  
(Промеж себя) – бараньим ста-  
дом...  
Но – «глас народа – Божий глас»,  
И это чаще помнить надо,  
Хотя бы, например, сейчас:  
Когда б он был глупей немного  
(Его ль, однако, в том вина?), —

Быть может, лучшую дорогу  
Себе избрать могла она,  
И, может быть, с такою нежной  
Дворянской девушкой связав  
Свой рок холодный и мятеж-  
ный, —  
Герой мой был совсем не прав...

Но все пошло неотвратимо  
Своим путем. Уж лист, шурша,  
Крутился. И неудержимо  
У дома старилась душа.  
Переговоры о Балканах  
Уж дипломаты повели,  
Войска пришли и спать легли,  
Нева закуталась в туманах,  
И штатские пошли дела,  
И штатские пошли вопросы:  
Аресты, обыски, доносы  
И покушенья – без числа...  
И книжной крысой настоящей  
Мой Байрон стал средь этой  
мглы;  
Он диссертацией блестящей  
Стяжал отменные хвалы  
И принял кафедру в Варшаве...  
Готовясь лекции читать,  
Запутанный в гражданском пра-



ве,  
С душой, начавшей уставать, —  
Он скромно предложил ей руку,  
Связал ее с своей судьбой  
И в даль увез ее с собой,  
Уже питая в сердце скуку, —  
Чтобы жена с ним до звезды  
Делила книжные труды...

Прошло два года. Грянул взрыв  
С Екатеринина канала,  
Россию облаком покрыв.  
Все издалека предвещало,  
Что час свершится роковой,  
Что выпадет такая карта...  
И этот века час дневной —  
Последний – назван первым мар-  
та.  
В семье – печаль. Упразднена  
Как будто часть ее большая:  
Всех веселила дочь меньшая,  
Но из семьи ушла она,  
А жить – и путано, и трудно:  
То – над Россией дым стоит...  
Отец, сидя, в дым глядит...  
Тоска! От дочки вести скудны...  
Вдруг – возвращается она...  
Что с ней? Как стан прозрачный

*тонок!  
Худа, измучена, бледна...  
И на руках лежит ребенок.*

## **Вторая глава «Вступление»**

**I**



*В те годы дальние, глухие,  
В сердцах царили сон и мгла:  
Победоносцев над Россией  
Простер совиные крыла,  
И не было ни дня, ни ночи,  
А только – тень огромных крыл;  
Он дивным кругом очертил*

Россию, заглянув ей в очи  
Стеклянным взором колдуна;  
Под умный говор сказки чудной  
Уснуть красавице не трудно, —  
И затуманилась она,  
Заснав надежды, думы, страсти...  
Но и под игом темных чар  
Ланиты красил ей загар:  
И у волшебника во власти  
Она казалась полной сил,  
Которые рукой железной  
Зажаты в узел бесполезный...  
Колдун одной рукой кадил,  
И струйкой синей и кудрявой  
Курился росный ладан... Но —  
Он клал другой рукой костлявой  
Живые души под сукно.

## II

В те незапамятные годы  
Был Петербург еще грозней,  
Хоть не тяжеле, не серей  
Под крепостью катила воды  
Необозримая Нева...  
Штык свётил, плакали куранты,  
И те же барыни и франты  
Летели здесь на острова,  
И так же конь чуть слышным

смахом  
Коню навстречу отвечал,  
И черный ус, мешаясь с мехом,  
Глаза и губы щекотал...  
Я помню, так и я, бывало,  
Летал с тобой, забыв весь свет,  
Но... право, проку в этом нет.  
Мой друг, и счастья в этом ма-  
ло...

### III

Востока страшная заря  
В те годы чуть еще алела...  
Чернь петербургская глазела  
Подобострастно на царя...  
Народ толпился в самом деле,  
В медалях кучер у дверей  
Тяжелых горячил коней,  
Городовые на панели  
Сгоняли публику... «Ура»  
Заводит кто-то голосистый,  
И царь – огромный, водянистый  
[35] —  
С семейством едет со двора...  
Весна, но солнце светит глупо,  
До Пасхи – целых семь недель,  
А с крыш холодная капель  
Уже за воротник мой тупо

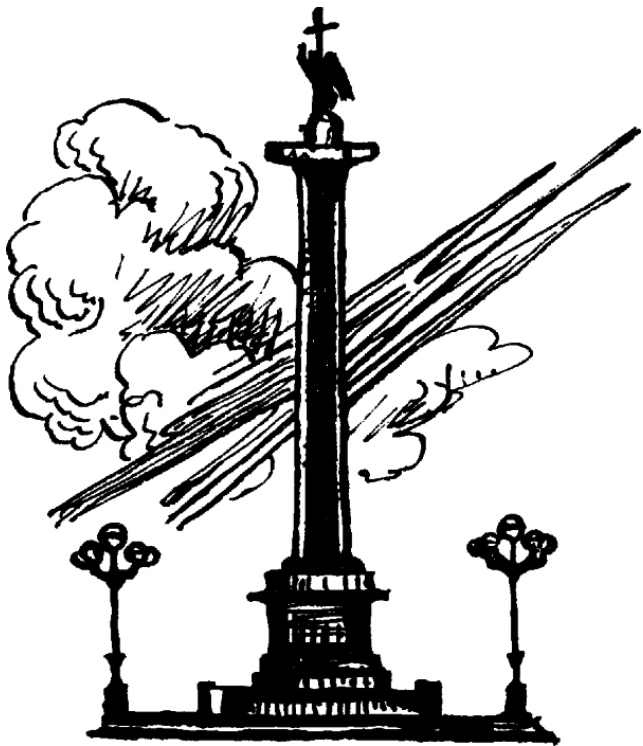
Сползает, спину холодя...  
Куда ни повернись, все ветер...  
«Как тошно жить на белом свете», —  
Бормочешь, лужу обходя;  
Собака под ноги суется,  
Калоши сыщика блестят,  
Вонь кислая с дворов несется,  
И «князь»[36] орет: «Халат, халат!»  
И, встретившись лицом с прохожим,  
Ему бы в рожу наплевал,  
Когда б желания того же  
В его глазах не прочитал...

#### IV

Но перед майскими ночами  
Весь город погрузался в сон,  
И расширялся небосклон;  
Огромный месяц за плечами  
Таинственно румянил лик  
Перед зарей необозримой...  
О, город мой неуловимый,  
Зачем над бездной ты возник?...  
Ты помнишь: выйдя ночью белой  
Туда, где в море сфинкс глядит,  
И на обтесанный гранит

Склоняясь главою отяжелелой,  
Ты слышать мог: вдали, вдали,  
Как будто с моря, звук тревож-  
ный,  
Для Божьей тверди невозможный  
И необычный для земли...  
Провидел ты всю даль, как ангел  
На шпиле крепостном; и вот —  
(Сон или явь): чудесный флот,  
Широко развернувший фланги,  
Внезапно заградил Неву...  
И Сам Державный Основатель  
Стоит на головном фрегате...  
Так снилось многим наяву...  
Какие ж сны тебе, Россия,  
Какие бури суждены?...  
Но в эти времена глухие  
Не всем, конечно, снились сны...  
Да и народу не бывало  
На площади в сей дивный миг  
(Один любовник запоздалый  
Спешил, поднявши воротник...).Но в алых струйках за кормами  
Уже грядущий день сиял,  
И дремлющими вымпелами  
Уж ветер утренний играл,  
Раскинулась необозримо  
Уже кровавая заря,

*Гроза Артуром и Цусимой,  
Гроза Девятым января...*



## Третья глава



*Отец лежит в «Аллее Роз»[37],  
Уже с усталостью не споря,  
А сына поезд мчит в мороз  
От берегов родного моря...  
Жандармы, рельсы, фонари,  
Жаргон и пейсы вековые, —  
И вот – в лучах больной зари  
Задворки польские России...  
Здесь все, что было, все, что есть,  
Надуто мстительной химерой;  
Коперник сам лелеет месть,  
Склоняясь над пустою сферой[38]*



...

«Месть! Месть!» – в холодном чугу-  
гуне

Звенит, как эхо, над Варшавой:

То Пан-Мороз на злом коне

Бряцает шпорою кровавой...

Вот оттепель: блеснет живею

Край неба желтизной ленивой,

И очи панн чертят смелей

Свой круг ласкательный и льсти-  
вый...

Но все, что в небе, на земле,

По-прежнему полно печалью...

Лишь рельс в Европу в мокрой  
мгле

Поблескивает честной сталью.

Вокзал заплеванный; дома,

Коварно преданные вьюгам;

Мост через Вислу – как тюрьма,

Отец, сраженный злым неду-  
гом, —

Все внове баловню судеб;

Ему и в этом мире скудном

Мечтается о чем-то чудном;

Он хочет в камне видеть хлеб,

Бессмертья знак – на смертном  
ложе,

За тусклым светом фонаря  
Ему мерещится заря  
Твоя, забывший Польшу, Боже! —  
Что́ здесь он с юностью своей?  
О чем у ветра жадно просит? —  
Забывтый лист осенних дней  
Да пыль сухую ветер носит!  
А ночь идет, ведя мороз,  
Усталость, сонные желанья...  
Как улиц гадостны названья!  
Вот, наконец, «Аллея Роз»!.. —  
Неповторимая минута:  
Больница в сон погружена, —  
Но в раме светлого окна  
Стоит, оборотясь к кому-то,  
Отец... и сын, едва дыша,  
Глядит, глазам не доверяя...  
Как будто в смутном сне душа  
Его застыла молодая,  
И злую мысль не отогнать:  
«Он жив еще!.. В чужой Варшаве  
С ним разговаривать о праве,  
Юристов с ним критиковать!..»  
Но все – одной минуты дело:  
Сын быстро ищет ворота  
(Уже больница заперта),  
Он за звонок берется смело  
И входит... Лестница скрипит...

Усталый, грязный от дороги,  
Он по ступенькам вверх бежит  
Без жалости и без тревоги...  
Свеча мелькает... Господин  
Загородил ему дорогу  
И, всматриваясь, молвит строго:  
«Вы – сын профессора?» – «Да,  
сын...»  
Тогда (уже с любезной миной):  
«Прошу вас. В пять он умер.  
Там...»

Отец в гробу был сух и прям.  
Был нос прямой – а стал орлиный.  
Был жалок этот смятый одр,  
И в комнате, чужой и тесной,  
Мертвец, собравшийся на смотр,  
Спокойный, желтый, бессловес-  
ный...  
«Он славно отдохнет теперь», —  
Подумал сын, спокойным взгля-  
дом  
Смотря в отворенную дверь...  
(С ним кто-то неотлучно рядом  
Глядел туда, где пламя свеч,  
Под вейньем неосторожным  
Склоняясь, озарит тревожно  
Лик желтый, туфли, узость

плеч, —

И, выпрямляясь, слабо чертит  
Другие тени на стене...

А ночь стоит, стоит в окне...)

И мыслит сын: «Где ж праздник  
Смерти?

Отцовский лик так странно  
тих...

Где язвы дум, морщины муки,  
Страстей, отчаянья и скуки?

Иль смерть смела бесследно  
их?» —

Но все утомлены. Покойник  
Сегодня может спать один.

Ушли родные. Только сын

Склонен над трупом... Как разбой-  
ник,

Он хочет осторожно снять  
Кольцо с руки оцепенелой...

(Неопытному трудно смело  
У мертвых пальцы разгибать.)

И, только преклонив колени  
Над самой грудью мертвеца,  
Увидел он, какие тени

Легли вдоль этого лица...

Когда же с непокорных пальцев  
Кольцо скользнуло в жесткий  
гроб,

Сын окрестил отцовский лоб,  
Прочтя на нем печать скиталь-  
цев,  
Гонимых по миру судьбой...  
Поправил руки, образ, свечи,  
Взглянул на вскинутые плечи  
И вышел, молвив: «Бог с тобой».

Да, сын любил тогда отца  
Впервой – и, может быть, в по-  
следний,  
Сквозь скуку панихид, обедней,  
Сквозь пошлость жизни без кон-  
ца...  
Отец лежал не очень строго:  
Торчал измятый клок волос;  
Все шире с тайною тревогой  
Вскрывался глаз, сгибался нос;  
Улыбка жалкая кривила  
Неплотно сжатые уста...  
Но разложение – красота  
Неизъяснимо победила...  
Казалось, в этой красоте  
Забыл он долгие обиды  
И улыбался суете  
Чужой военной панихиды...  
А чернь старалась, как могла:  
Над гробом говорили речи;

Цветками дама убрала  
Его приподнятые плечи;  
Потом на ребра гроба лег  
Свинец, полоскою бесспорной  
(Чтоб он, воскреснув, встать не  
мог).  
Потом, с печалью непритворной,  
От паперти казенной прочь  
Тащили гроб, давя друг друга...  
Бесснежная визжала вьюга.  
Злой день сменяла злая ночь.

По незнакомым площадям  
Из города в пустое поле  
Все шли за гробом по пятам...  
Кладбище называлось: «Воля».  
Да! Песнь о воле слышим мы,  
Когда могильщик бьет лопатой  
По глыбам глины желтоватой;  
Когда откроют дверь тюрьмы;  
Когда мы изменяем женам,  
А жены – нам; когда, узнав  
О поруганьи чьих-то прав,  
Грозим министрам и законам  
Из запертых на ключ квартир;  
Когда проценты с капитала  
Освободят от идеала;  
Когда... – На кладбище был мир,

И впрямь пахнуло чем-то вольным:

Кончалась скука похорон,  
Здесь радостный галдеж ворон  
Сливался с гулом колокольным...  
Как пусты ни были сердца,  
Все знали: эта жизнь – сгорела...  
И даже солнце поглядело  
В могилу бедную отца.

Глядел и сын, найти пытаюсь  
Хоть в желтой яме что-нибудь...  
Но все мелькало, расплываясь,  
Слепя глаза, стесняя грудь...  
Три дня – как три тяжелых года!  
Он чувствовал, как стынет  
кровь...  
Людская пошлость? Иль – погода?  
Или – сыновняя любовь? —  
Отец от первых лет сознанья  
В душе ребенка оставлял  
Тяжелые воспоминанья —  
Отца он никогда не знал.  
Они встречались лишь случайно,  
Живя в различных городах,  
Столь чуждые во всех путях  
(Быть может, кроме самых тайных).

Отец ходил к нему, как гость,  
Согбенный, с красными кругами  
Вкруг глаз. За вялыми словами  
Нередко шевелилась злость...  
Внушал тоску и мысли злые  
Его циничный, тяжкий ум,  
Грязня туман сыновних дум.  
(А думы глупые, младые...)  
И только добрый льстивый взор,  
Бывало, упал украдкой  
На сына, странною загадкой  
Врываясь в нудный разговор...  
Сын помнит: в детской, на диване  
Сидит отец, куря и злясь;  
А он, безумно расшальясь,  
Вертится пред отцом в тумане...  
Вдруг (злое, глупое дитя!) —  
Как будто бес его толкает,  
И он стремглав отцу вонзает  
Булавку около локтя...  
Растерян, побледнев от боли,  
Тот дико вскрикнул...  
Этот крик  
С внезапной яркостью возник  
Здесь, над могилою, на «Воле», —  
И сын очнулся... Вьюги свист;  
Толпа; могильщик холм ровняет;  
Шуршит и бьется бурый лист...



И женщина навзрыд рыдает  
Неудержимо и светло...  
Никто с ней не знаком. Чело  
Покрыто траурной фатой.  
Что там? Небесной красотой  
Оно сияет? Или – там  
Лицо старухи некрасивой,  
И слезы катятся лениво  
По провалившимся щекам?  
И не она ль тогда в больнице  
Гроб вместе с сыном стерегла?...  
Вот, не открыв лица, ушла...  
Чужой народ кругом толпится...  
И жаль отца, безмерно жаль:  
Он тоже получил от детства  
Флобера странное наследство —  
Education sentimentale[39].

От панихид и от обедней  
Избавлен сын; но в отчий дом  
Идет он. Мы туда пойдём  
За ним и бросим взгляд последний  
На жизнь отца (чтобы уста  
Поэтов не хвалили мира!).  
Сын входит. Пасмурна, пуста  
Сырая, темная квартира...  
Привыкли чужаком считать  
Отца – на то имели право:

На всем покоилась печать  
Его тоскующего нрава;  
Он был профессор и декан;  
Имел ученые заслуги;  
Ходил в дешевый ресторан  
Поесть – и не держал прислуги;  
По улице бежал бочком  
Поспешно, точно пес голодный,  
В шубенке никуда не годной  
С потрепанным воротником;  
И видели его сидевшим  
На груди почернелых шпал;  
Здесь он нередко отдыхал,  
Вперяясь взглядом опустевшим  
В прошедшее... Он «свел на нет»  
Все, что мы в жизни ценим стро-  
го:  
Не освежалась много лет  
Его убогая берлога;  
На мебели, на грудях книг  
Пыль стлалась серыми слоями;  
Здесь в шубе он сидеть привык  
И печку не топил годами;  
Он все берет и в кучу нес:  
Бумажки, лоскутки материй,  
Листочки, корки хлеба, перья,  
Коробки из-под папирос,  
Белья нестиранного груды,

Портреты, письма дам, родных  
И даже то, о чем в своих  
Стихах рассказывать не буду...  
И наконец – убогий свет  
Варшавский падал на киоты  
И на повестки и отчеты  
«Духовно-нравственных бесед»...  
Так, с жизнью счет сводя печаль-  
ный,  
Презревши молодости пыл,  
Сей Фауст, когда-то радикаль-  
ный,  
«Правел», слабел... и всё забыл;  
Ведь жизнь уже не жгла – чадила,  
И однозвучны стали в ней  
Слова: «свобода» и «еврей»...  
Лишь музыка – одна будила  
Отяжелевшую мечту:  
Брюзжащие смолкали речи;  
Хлам превращался в красоту;  
Прямилась сгорбленные плечи;  
С нежданной силой пел рояль,  
Будя неслыханные звуки:  
Проклятия страстей и скуки,  
Стыд, горе, светлую печаль...  
И наконец – чахотку злую  
Своею волей нажил он,  
И слег в лечебницу плохую

Сей современный Гарпагон[40]...

Так жил отец: скупцом, забытым  
Людьми, и Богом, и собой,  
Иль псом бездомным и забитым  
В жестокой давке городской.  
А сам... Он знал иных мгновений  
Незабываемую власть!  
Недаром в скуку, смрад и страсть  
Его души – какой-то гений  
Печальный залетал порой;  
И Шумана будили звуки  
Его озлобленные руки,  
Он ведал холод за спиной...  
И, может быть, в преданьях тем-  
ных  
Его слепой души, впотьмах —  
Хранилась память глаз огромных  
И крыл, изломанных в горах[41]...  
В ком смутно брезжит память  
эта,  
Тот странен и с людьми не схож:  
Всю жизнь его – уже поэта  
Священная объемлет дрожь,  
Бывает глух, и слеп, и нем он,  
В нем почивает некий Бог,  
Его опустошает Демон,  
Над коим Врубель изнемог...

*Его прозрения глубоки,  
Но их глушит ночная тьма,  
И в снах холодных и жестоких  
Он видит «Горе от ума».*

*Страна – под бременем обид,  
Под игом наглого насилья —  
Как ангел, опускает крылья,  
Как женщина, теряет стыд.  
Безмолвствует народный гений,  
И голоса не подает,  
Не в силах сбросить ига лени,  
В полях затерянный народ.  
И лишь о сыне, ренегате,  
Всю ночь безумно плачет мать,  
Да шлет отец врагу проклятье  
(Ведь старым нечего терять!..).  
А сын – он изменил отчизне!  
Он жадно пьет с врагом вино,  
И ветер ломится в окно,  
Взывая к совести и к жизни...*

*Не также ль и тебя, Варшава,  
Столица гордых поляков,  
Дремать принудила орава  
Военных русских пошляков?  
Жизнь глухо кроется в подпольи,  
Молчат магнатские дворцы...*

Лишь Пан-Мороз во все концы  
Свирепо рыщет на раздольи!  
Неистово взлетит над вами  
Его седая голова,  
Иль откидные рукава  
Взметутся бурей над домами,  
Иль конь заржет – и звоном  
струн  
Ответит телеграфный провод,  
Иль вздернет Пан взбешенный по-  
вод,  
И четко повторит чугуном  
Удары мерзлого копыта  
По опустелой мостовой...  
И вновь, поникнув головой,  
Безмолвен Пан, тоской убитый...  
И, странствуя на злом коне,  
Бряцает шпорою кровавой...  
Мсть! Мсть! – Так эхо над Вар-  
шавой  
Звенит в холодном чугуне!

Еще светлы кафэ и бары,  
Торгует телом «Новый свет»,  
Кишат бесстыдные троттуары,  
Но в переулках – жизни нет,  
Там тьма и вьюги завыванье...  
Вот небо сжалилось – и снег

Глушит трескучей жизни бег,  
Несет свое очарованье...  
Он вьется, стелется, шуршит,  
Он – тихий, вечный и старинный...  
Герой мой милый и невинный,  
Он и тебя запорошит,  
Пока бесцельно и тоскливо,  
Едва похоронив отца,  
Ты бродишь, бродишь без конца  
В толпе больной и похотливой...  
Уже ни чувств, ни мыслей нет,  
В пустых зеницах нет сиянья,  
Как будто сердце от скитанья  
Состарилось на десять лет...  
Вот робкий свет фонарь роняет...  
Как женщина, из-за угла  
Вот кто-то льстиво подполза-  
ет...  
Вот – подольстилась, подползла,  
И сердце торопливо сжала  
Невыразимая тоска,  
Как бы тяжелая рука  
К земле пригнула и прижала...  
И он уж не один идет,  
А точно с кем-то новым вме-  
сте...  
Вот быстро под гору ведет  
Его «Краковское предместье»[42];

Вот Висла – снежной бури ад...  
Ища защиты за домами,  
Стуча от холода зубами,  
Он повернул опять назад...  
Опять над сферою Коперник  
Под снегом в думу погружен...  
(А рядом – друг или соперник —  
Идет тоска...) Направо он  
Поворотил – немного в гору...  
На миг скользнул ослепший взор  
По православному собору.  
(Какой-то очень важный вор,  
Его построив, не достроил...)  
Герой мой быстро шаг удвоил,  
Но скоро изнемог опять —  
Он начинал уже дрожать  
Непобедимой мелкой дрожью  
(В ней все мучительно сплелось:  
Тоска, усталость и мороз...),  
Уже часы по бездорожью  
По снежному скитался он  
Без сна, без отдыха, без цели...  
Стихает злобный визг метели,  
И на Варшаву сходит сон...  
Куда ж еще идти? Нет мочи  
Бродить по городу всю ночь. —  
Теперь уж некому помочь!  
Теперь он – в самом сердце ночи!



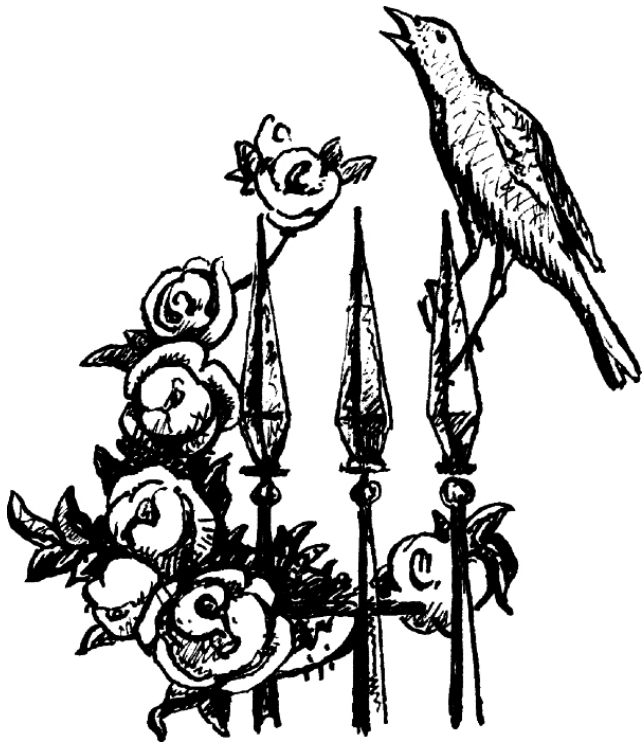
О, черен взор твой, ночи тьма,  
И сердце каменное глухо,  
Без сожаленья и без слуха,  
Как те ослепшие дома!..  
Лишь снег порхает – вечный, бе-  
лый,  
Зимой – он площадь оснежит,  
И мертвое засыплет тело,  
Весной – ручьями побежит...  
Но в мыслях моего героя  
Уже почти несвязный бред...  
Идет... (По снегу вьется след  
Один, но их, как было, двое...)  
В ушах – какой-то смутный  
звон...  
Вдруг – бесконечная ограда  
Саксонского, должно быть, сада...  
К ней тихо прислонился он.

Когда ты загнан и забит  
Людьми, заботой, иль тоскою;  
Когда под гробовой доскою  
Все, что тебя пленяло, спит;  
Когда по городской пустыне,  
Отчаявшийся и больной,  
Ты возвращаешься домой,  
И тяжелит ресницы иней,  
Тогда – остановись на миг

Послушать тишину ночную:  
Постигнешь слухом жизнь иную,  
Которой днем ты не постиг;  
По-новому окинешь взглядом  
Даль снежных улиц, дым костра,  
Ночь, тихо ждущую утра  
Над белым запушённым садом,  
И небо – книгу между книг;  
Найдешь в душе опустошенной  
Вновь образ матери склоненный,  
И в этот несравненный миг —  
Узоры на стекле фонарном,  
Мороз, оледенивший кровь,  
Твоя холодная любовь —  
Все вспыхнет в сердце благодар-  
ном,  
Ты все благословишь тогда,  
Поняв, что жизнь – безмерно бо-  
ле,  
Чем quantum satis[43] Бранда[44]  
воли,  
А мир – прекрасен, как всегда.



**Соловьиный сад[45]**







1

*Я ломаю слоистые скалы  
В час отлива на илистом дне,  
И таскает осел мой усталый  
Их куски на мохнатой спине.*

*Донесем до железной дороги,  
Сложим в кучу, – и к морю опять  
Нас ведут волосатые ноги,  
И осел начинает кричать.*

*И кричит, и трубит он, – отрад-  
но,*

Что идет налегке хоть назад.  
А у самой дороги – прохладный  
И тенистый раскинулся сад.

По ограде высокой и длинной  
Лишних роз к нам свисают цветы.  
Не смолкает напев соловьиный,  
Что-то шепчут ручки и листья.

Крик осла моего раздается  
Каждый раз у садовых ворот,  
А в саду кто-то тихо смеется,  
И потом – отойдет и поет.

И, вникая в напев беспокойный,  
Я гляжу, понукая осла,  
Как на берег скалистый и зной-  
ный  
Опускается синяя мгла.

## 2

Знойный день догорает бесследно,  
Сумрак ночи ползет сквозь ку-  
сты;  
И осел удивляется, бедный:  
«Что́, хозяин, раздумался ты?»

Или разум от зноя мутится,

Замечтался ли в сумраке я?  
Только все неотступнее снится  
Жизнь другая – моя, не моя...

И чего в этой хижине тесной  
Я, бедняк обездоленный, жду,  
Повторяя напев неизвестный,  
В соловьином звенящий саду?

Не доносятся жизни проклятья  
В этот сад, обнесенный стеной,  
В синем сумраке белое платье  
За решеткой мелькает резной.

Каждый вечер в закатном тумане  
Прохожу мимо этих ворот,  
И она меня, легкая, манит  
И круженьем, и пеньем зовет.

И в призывном круженьи и пеньи  
Я забытое что-то ловлю,  
И любить начинаю томленье,  
Недоступность ограды люблю.

### 3

Отдыхает осел утомленный,  
Брошен лом на песке под скалой,



*А хозяин блуждает влюбленный  
За ночную, за знойною мглой.*

*И знакомый, пустой, камени-  
стый,  
Но сегодня – таинственный путь  
Вновь приводит к ограде тени-  
стой,  
Убегающей в синюю муть.*

*И томление все безысходней,  
И идут за часами часы,  
И колючие розы сегодня  
Опустились под тягой росы.*

*Наказанье ли ждет, иль награда,  
Если я уклонюсь от пути?  
Как бы в дверь соловьиного сада  
Постучаться, и можно ль войти?*

*А уж прошлое кажется стран-  
ным,  
И руке не вернуться к труду:  
Сердце знает, что гостем желан-  
ным  
Буду я в соловьином саду...*

*Правду сердце мое говорило,  
И ограда была не страшна,  
Не стучал я – сама отворила  
Неприступные двери она.*

*Вдоль прохладной дороги, меж ли-  
лий,  
Однозвучно запели ручьи,  
Сладкой песнью меня оглушили,  
Взяли душу мою соловьи.*

*Чуждый край незнакомого сча-  
стья  
Мне открыли объятия те,  
И звенели, спадая, запястья  
Громче, чем в моей нищей мечте.*

*Опьяненный вином золотистым,  
Золотым опаленный огнем,  
Я забыл о пути каменистом,  
О товарище бедном своем.*

## **5**

*Пусть укрыла от дольного горя  
Утонувшая в розах стена, —  
Заглушить рокотание моря  
Соловьиная песнь не вольна!*

*И вступившая в пенье тревога  
Рокот волн до меня донесла...  
Вдруг – виденье: большая дорога  
И усталая поступь осла...*

*И во мгле благовонной и знойной  
Обвиваясь горячей рукой,  
Повторяет она беспокойно:  
«Что́ с тобою, возлюбленный  
мой?»*

*Но, впереясь во мглу сиротливо,  
Надышаться блаженством спе-  
ша,  
Отдаленного шума прилива  
Уж не может не слышать душа.*

## 6

*Я проснулся на мглистом рассве-  
те  
Неизвестно которого дня.  
Спит она, улыбаясь, как дети, —  
Ей пригрезился сон про меня.*

*Как под утренним сумраком ча-  
рым  
Лик, прозрачный от страсти, кра-  
сив!..*

*По далеким и мерным ударам  
Я узнал, что подходит прилив.*

*Я окно распахнул голубое,  
И почудилось, будто возник  
За далеким рычаньем прибоя  
Призывающий жалобный крик.*

*Крик осла был протяжен и долог,  
Проникал в мою душу, как стон,  
И тихонько задернул я полог,  
Чтоб продлить очарованный сон.*

*И, спускаясь по камням ограды,  
Я нарушил цветов забытье.  
Их шипы, точно руки из сада,  
Уцепились за платье мое.*

## **7**

*Путь знакомый и прежде недлин-  
ный  
В это утро кремнист и тяжел.  
Я вступаю на берег пустынный,  
Где остался мой дом и осел.*

*Или я заблудился в тумане?  
Или кто-нибудь шутит со мной?  
Нет, я помню камней очертанье,*

*Тощий куст и скалу над водой...*

*Где же дом? – И скользящей ногою*

*Спотыкаюсь о брошенный лом,  
Тяжкий, ржавый, под черной скалою*

*Затянувшийся мокрым песком...*

*Размахнувшись движеньем знакомым*

*(Или все еще это во сне?),  
Я ударил заржавленным ломом  
По слоистому камню на дне...*

*И оттуда, где серые спруты  
Покачнулись в лазурной щели,  
Закарабкался краб всполохнутый  
И присел на песчаной мели.*

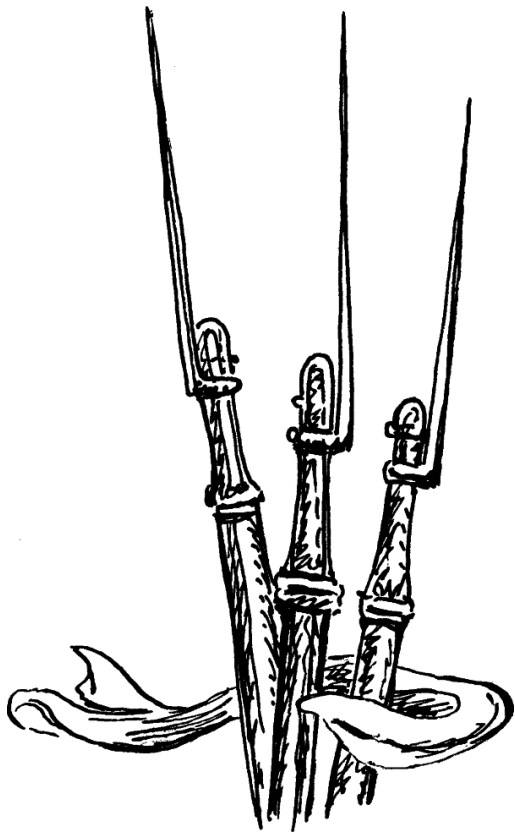
*Я подвинулся, – он приподнялся,  
Широко разевая клешни,  
Но сейчас же с другим повстречался,  
Подрались и пропали они...*

*А с тропинки, протоптанной мною,*

*Там, где хижина прежде была,  
Стал спускаться рабочий с кир-  
кою,  
Погоняя чужого осла.*

**6** января 1914 – 14 октября 1915

**Двенадцать[46]**









1

*Черный вечер.  
Белый снег.  
Ветер, ветер!  
На ногах не стоит человек.  
Ветер, ветер —  
На всем Божьем свете!*

*Завивает ветер  
Белый снежок.  
Под снежком – ледок.  
Скользко, тяжело,  
Всякий ходок*

Скользит – ах, бедняжка!

От здания к зданию  
Протянут канат.

На канате – плакат:

«Вся власть Учредительному Со-  
бранию!»

Старушка убивается – плачет,  
Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для  
ребят,

А всякий – раздет, разут...

Старушка, как курица,

Кой-как перемотнулась через су-  
гроб.

– Ох, Матушка-Заступница!

– Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!

Не отстает и мороз!

И буржуй на перекрестке

В воротник упрятал нос.

А это кто? – Длинные волосы

И говорит вполголоса:

– Предатели!  
– Погибла Россия!  
Должно быть, писатель —  
Вития...

А вон и долгополый —  
Сторонкой – за сугроб...  
Что нынче невеселый,  
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало  
Брюхом шел вперед,  
И крестом сияло  
Брюхо на народ?...

Вон барыня в каракуле  
К другой подвернулась:  
– Ужь мы плакали, плакали...  
Поскользнулась  
И – бац – растянулась!

Ай, ай!  
Тяни, подымай!

Ветер веселый  
И зол, и рад.  
Крутит подолы,  
Прохожих ко́сит,

Рвет, мнет и носит  
Большой плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию»...  
И слова доносит:

... И у нас было собрание...  
... Вот в этом здании...  
... Обсудили —  
Постановили:  
На время – десять, на ночь – два-  
дцать пять...  
... И меньше – ни с кого не брать...  
... Пойдем спать...

Поздний вечер.  
Пустеет улица.  
Один бродяга  
Сутулится,  
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!  
Подходи —  
Поцелуемся...

Хлеба!  
Что́ впереди?  
Проходи!

*Черное, черное небо.*

*Злоба, грустная злоба  
Кипит в груди...  
Черная злоба, святая злоба...*

*Товарищ! Гляди  
В оба!*

## **2**

*Гуляет ветер, порхает снег.  
Идут двенадцать человек.*

*Винтовок черные ремни,  
Кругом – огни, огни, огни...*

*В зубах – цыгарка, примят кар-  
туз.  
На спину б надо бубновый туз[47]!*

*Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!*

*Тра-та-та!*

*Холодно, товарищи, холодно!*

*– А Ванька с Катькой – в кабаке...*

– У ей керенки есть в чулке!

– Ванюшка сам теперь богат...

– Был Ванька наш, а стал солдат!

– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Катька с Ванькой занята —  
Чем, чем занята?...

Тра-та-та!

Кругом – огни, огни, огни...  
Оплечь – ружейные ремни...

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не  
трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую  
Русь —

В кондовую,  
В избяную,

*В толстозадую!*

*Эх, эх, без креста!*

### **3**

*Как пошли наши ребята  
В красной гвардии служить —  
В красной гвардии служить —  
Буйну голову сложить!*

*Эх ты, горе-горькое,  
Сладкое житье!  
Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье!*

*Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови —  
Господи, благослови!*

### **4**

*Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит —  
Электрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!..*

*Он в шинелишке солдатской*

*С физиономией дурацкой  
Крутит, крутит черный ус,  
Да покручивает,  
Да пошучивает...*

*Вот так Ванька – он плечист!  
Вот так Ванька – он речист!  
Катьку-дуру обнимает,  
Заговаривает...*

*Запрокинулась лицом,  
Зубки блещут жемчугом...  
Ах ты, Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая...*

## **5**

*У тебя на шее, Катя,  
Шрам не зажил от ножа.  
У тебя под грудью, Катя,  
Та царапина свежа!*

*Эх, эх, попляши!  
Больно ножки хороши!*

*В кружевном белье ходила —  
Походи-ка, походи!  
С офицерами блудила —  
Поблуди-ка, поблуди!*



Эх, эх, поблуди!  
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —  
Не ушел он от ножа...  
Аль не вспомнила, холера?  
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила —  
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!  
Будет легче для души!

## 6

...Опять навстречу несется  
вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!  
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!

Вскрутился к небу снежный  
прах!..

Лихач – и с Ванькой – наутек...  
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,  
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? – Мертва, мертва!  
Простреленная голова!

Что́, Катька, рада? – Ни гу-гу...  
Лежи ты, падаль, на снегу!

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

## 7

И опять идут двенадцать,  
За плечами – ружьеца.  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее

Уторапливает шаг.  
Замотал платок на шею —  
Не оправиться никак...

– Что, товарищ, ты не весел?  
– Что, дружок, оторопел?  
– Что, Петруха, нос повесил,  
Или Катьку пожалел?

– Ох, товарищи, родные,  
Эту девку я любил...  
Ночки черные, хмельные  
С этой девкой проводил...

– Из-за удали бедовой  
В огневых ее очах,  
Из-за родинки пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча... ах!

– Ишь, стервец, завел шарманку,  
Что ты, Петька, баба, что ль?  
– Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!  
– Поддержи свою осанку!  
– Над собой держи контроль!

– Не такое нынче время,  
Чтобы нянчиться с тобой!  
Потяжеле будет бремя  
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет  
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,  
Он опять повеселел...

Эх, эх!  
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —  
Гуляет нынче голытьба!

## 8

Ох ты, горе-горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!

Ужь я времячко  
Проведу, проведу...

Ужъ я темячко  
Почешу, почешу...

Ужъ я семячки  
Полущу, полущу...

Ужъ я ножичком  
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку...

Упокой, Господи, душу рабы тво-  
ея...

Скучно!

## 9

Не слышно шуму городского[48],  
Над Невской башней[49] тишина,  
И больше нет городского —  
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос.  
А рядом жметя шерстью жест-

кой  
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

## 10

Разыгралась чтой-то вьюга,  
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся...

– Ох, пурга какая, спасе!  
– Петька! Эй, не завирайся!  
От чего тебя упас  
Золотой иконостас?  
Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво —  
Али руки не в крови  
Из-за Катькиной любви?  
– Шаг держи революционный!  
Близок враг неугомонный!

*Вперед, вперед, вперед,  
Рабочий народ[50]!*

## 11

*...И идут без имени святого  
Все двенадцать – вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль...*

*Их винтовочки стальные  
На незримого врага...  
В переулочки глухие,  
Где одна пылит пурга...  
Да в сугробы пуховые —  
Не утянешь сапога...*

*В очи бьется  
Красный флаг.  
Раздается  
Мерный шаг.*

*Вот – проснется  
Лютый враг...*

*И вьюга пылит им в очи  
Дни и ночи  
Напролет...*

*Вперед, вперед,  
Рабочий народ!*

## 12

*...Вдаль идут державным ша-  
гом...*

*– Кто еще там? Выходи!  
Это – ветер с красным флагом  
Разыгрался впереди...*

*Впереди – сугроб холодный,  
– Кто в сугробе – выходи!..  
Только нищий пес голодный  
Ковыляет позади...*

*– Отвяжись ты, шелудивый,  
Я штыком пощекочу!  
Старый мир, как пес паршивый,  
Провались – поколочу!*

*...Скалит зубы – волк голодный —  
Хвост поджал – не отстает —  
Пес холодный – пес безродный...  
– Эй, откликнись, кто идет?*

*– Кто там машет красным фла-  
гом?  
– Приглядись-ка, эка тьма!*



– Кто там ходит беглым шагом,  
Хоронясь за все дома?

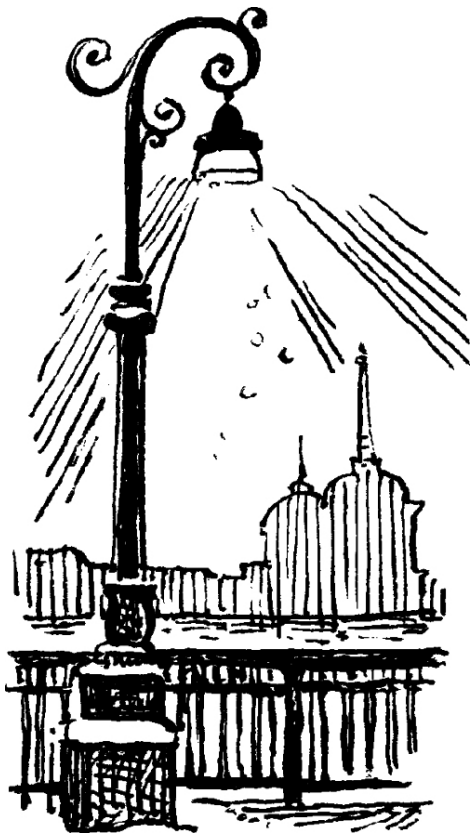
– Все равно, тебя добуду,  
Лучше сдайся мне живьем!  
– Эй, товарищ, будет худо,  
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! – И только эхо  
Откликается в домах...  
Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!  
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом —  
Позади – голодный пес,  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью над вьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —  
Впереди – Иисус Христос.

Январь 1918



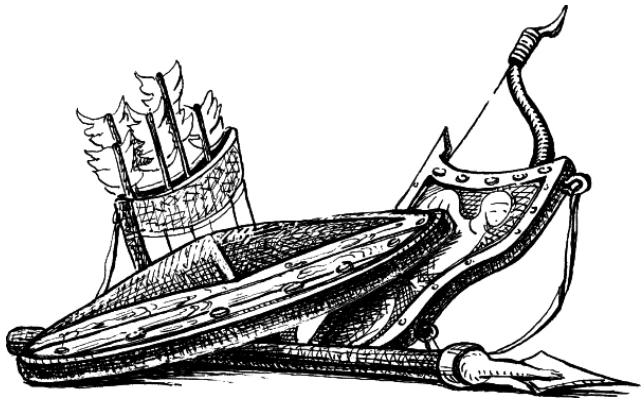
## Скифы[51]

*Панмонголизм! Хоть имя дико,  
Но мне ласкает слух оно[52].*

Владимир Соловьев







Мильоны – вас. Нас – тьмы, и  
тьмы, и тьмы.  
Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,  
С раскосыми и жадными очами!

Для вас – века, для нас – единый  
час.  
Мы, как послушные холопы,  
Держали щит меж двух враждеб-  
ных рас  
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал  
И заглушал грома́ лавины,

*И дикой сказкой был для вас провал  
И Лиссабона[53], и Мессины!*

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!*

*Вот – срок настал. Крылами бьет беда[54],  
И каждый день обиды множит,  
И день придет – не будет и следа  
От ваших Пестумов[55], быть может!*

*О, старый мир! Пока ты не погиб,  
Пока томишься мукой сладкой,  
Остановись, премудрый, как Эдип,  
Пред Сфинксом с древнею загадкой!*

*Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя,  
И с ненавистью, и с любовью!..*

Да, так любить, как любит наша  
кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть лю-  
бовь,  
Которая и жжет, и губит!

Мы любим все – и жар холодных  
числ,  
И дар Божественных видений,  
Нам внятно все – и острый галль-  
ский смысл,  
И сумрачный германский гений...

Мы помним все – парижских улиц  
ад,  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных роц далекий аромат,  
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть – и вкус ее, и  
цвет,  
И душный, смертный плоти за-  
пах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет  
ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших ла-  
пах?

Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крест-  
цы,  
И усмирять рабынь стропти-  
вых...

Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно – старый меч в  
ножны,  
Товарищи! Мы станем – братья!

А если нет, – нам нечего терять,  
И нам доступно вероломство!  
Века, века – вас будет проклипать  
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою пригожей  
Расступимся! Мы обернемся к  
вам  
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит ин-  
теграл,



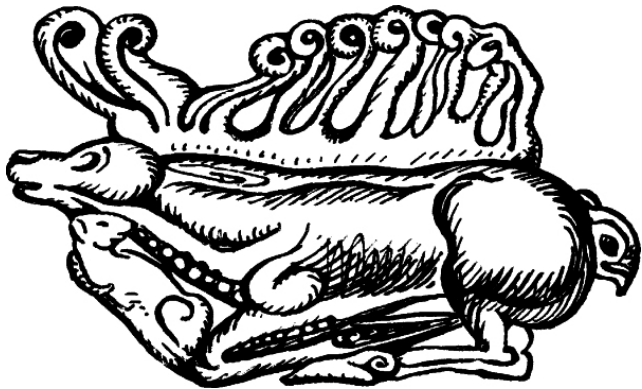
*С монгольской дикою ордою!*

*Но сами мы – отныне вам не  
щит,  
Отныне в бой не вступим сами,  
Мы поглядим, как смертный бой  
кипит,  
Своими узкими глазами.*

*Не сдвинемся, когда свирепый  
гунн[56]  
В карманах трупов будет ша-  
рить,  
Жечь города, и в церковь гнать  
табун,  
И мясо белых братьев жарить!..*

*В последний раз – опомнись, ста-  
рый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз на светлый брат-  
ский пир  
Сзывает варварская лира!*

**30** января 1918



## Приложение к поэме «Возмездие»

### 1. «Две заключительные главки первой редакции поэмы»

#### 13

*Тебе, читатель, надоело,  
Что я тяну вступленья нить,  
Но знай – иду я к цели смело,  
Чтоб истину установить.  
Кто б ни был ты, – среди обедов,  
Или храня служебный пыл,  
Ты, может быть, совсем забыл,  
Что был чиновник Грибоедов,*



Что службы долг не помешал  
Ему увидеть в сне тревожном  
Бред Чацкого о невозможном,  
И Фамусова шумный бал,  
И Лизы пухленькие губки...  
И – завершение всех чудес —  
Ты, Софья... Вестница небес,  
Или бесенок мелкий в юбке?...  
Я слышу возмущенный крик:  
«Кто ж Грибоедова не знает?» —  
«Вы, вы!» – Довольно. Умолкает  
Мой сатирический язык, —  
Читали вы «Милльон терзаний»  
[57],  
Смотрели «Горе от ума»...

В умах – все сон полусознаний, —  
В сердцах – все та же полутьма...  
«Твой Врубель – кто?» – отсюда  
разом  
Кричат... Кто Врубель? – На, ло-  
ви!..  
(О, Господи благослови...)  
Он был... печерским богомазом.  
Пожалуй, так собьюсь с пути —  
Все объясняю да толкую...  
Ты пропусти главу-другую,  
А впрочем (Бог тебе прости)...  
Хоть всю поэму пропусти.

## 14

С тобою связь я стал терять,  
Читатель, уходя в раздумья,  
Я голосу благоразумья  
Давно уж перестал внимать...  
Передо мной открылись бездны...  
И вдруг – припоминаю я:  
Что, если ты – колпак уездный,  
Иль, скажем, ревностный су-  
дья?...  
Иль даже чином много выше?  
Я твой не оскорблю устав:  
С пучком своих четверостиший  
На землю вновь лечу стремглав...

Эй, шибче! Пользуясь моментом,  
(Чтоб ты меня не обзывал  
«Кривлякою» и «декадентом»),  
Зову тебя к себе на бал!

Знакомьтесь: девушка из скром-  
ных —

Она тебя не оскорбит,  
Застенчивость, и даже стыд,  
Горят во взорах Музы томных,  
С ней смело танец начинай...

А если ты отец семейства, —  
Эй, Муза! чур, без чародейства,  
Кокетничай, да меру знай!

Читатель! Веселее! С Богом!  
Не раскисай хоть на балу!

Не то опять высоким слогом  
Я придущу тебя в углу[58]!

Она – ты думал – неуклюжа,  
И неречиста, и скучна?

Нет, погоди, мой друг! Она  
Сведет с ума любого мужа,  
Заставит дуться многих жен,  
Пройдясь с тобой в мазурке поль-  
ской,

Сверкнув тебе улыбкой скользкой  
(А ты, поди – уже влюблен!)

«Я вас люблю – и вы поверьте!»  
(Мой Бог! Когда от скромных дев

Вы этот слышали запев?)  
Смотри! Завертит хоть до смер-  
ти,  
Сдавайся! С Музою моею  
Ты ждал не этого, признаться?  
И вдруг – так страшно запыхать-  
ся?...

Приляг же, отдохни скорей,  
И больше не читай поэмы!  
Негодница! Что скажет свет?  
Подсовывать такие темы  
Читателю почтенных лет?  
Прочь с глаз! С такими я не зна-  
юсь!

Ступай, откудава пришла! —  
Тебя плясунья провела,  
Читатель! Так и быть, призна-  
юсь:

Повеселить тебя я рад,  
Ища с плясуньями союза,  
Но у меня – другая Муза,  
А эту – взял я напрокат.

**31** января 1911  
2. «Планы поэмы»

24 февраля <1911>

**У** моего героя не было событий в жизни. Он

жил с родными тихой жизнью в победоносцевском периоде. С детства он молчал, и все сильнее в нем накоплялось волнение беспокойное и неопределенное. Между тем близились Цусима и кровавые зори 9 января. Он ко всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира. Все разрастающиеся события были для него только образами развертывающегося хаоса. Скоро волнение его нашло себе русло: он попал в общество людей, у которых не сходило с языка слова «революция», «мятеж», «анархия», «безумие». Здесь были красивые женщины «с вечно смятой розой на груди» [59] – с приподнятой головой и приоткрытыми губами. Вино лилось рекой. Каждый «безумствовал», каждый хотел разрушить семью, домашний очаг – свой вместе с чужим. Герой мой с головой ушел в эту сумасшедшую игру, в то неопределенно-бурное мирозерцание, которое смеялось над всем, полагая, что все понимает. Однажды, с совершенно пустой головой, легкий, беспечный, но уже с тающим в душе протестом против своего бесцельного и губительного существования,

взбежал он на лестницу своего дома.

На столе лежало два письма: одно – надушенное, безграмотное и страстное... Потом он распечатал второе. Здесь его извещали кратко, что отец его находится при смерти в варшавской больнице.

Оставив все, он бросился в Варшаву. Одиночество в вагоне. «Жандармы, рельсы, фонари»[60]... Первые впечатления Варшавы.

\* \* \*

21 февраля 1913

*Пролог* («Жизнь без начала и конца».)

*Глава I.* Петербург конца 70-х годов. Турецкая война и 1 марта.

Это – фон. Семья и появление в ней «демона». Скучая, увозит молодую жену в Варшаву. Через год она возвращается: «бледна, измучена, ребенок золотокудрый на руках».

*Глава II.* Петербург 90-х годов. Царь. Тройки, вдова Клико. Воспитание сына у матери. Юность, видения, весенний пыл, роман (еще удачливый). *Первая мазурка.* Приближение революции, весть о приближающейся кончине отца.



*Глава III. Приезд в Варшаву. Смерть отца. Тоска, мороз, ночь. Вторая мазурка. «Ее» появление. Зачат сын.*

*Глава IV. Возвращение в Петербург. Красные зори, черные ночи. Гибель его (уже неудачливый). Баррикада.*

*Эпилог. Третья мазурка. Где-то в бедной комнате, в каком-то городе растет мальчик.*

Два лейтмотива: один – жизнь идет, как пехота, безнадежно. Другой – мазурка.

\* \* \*

21. I X.1913

Дед светел. В семью является демон, чтобы родить сына (первый «отбор»).

Детство и юность сына. Розовый туман, пар над лугами. *Любовь*. Опять война – и за нею революция. Встреча – как рыцарь, закованный в броню, – лица не видно. Безумие холодной страсти, так и нет лица. Утром – записка: «Смертельно болен ваш отец».

Вся тоска – только для встречи с «простой». Все лицо, пленительное все. Зачатие сына (последний отбор, что сулит?).

\* \* \*

Октябрь 1913

В 70-х годах жизнь идет «ровно» (сравнительно. Лейтмотив – пехота). Это оттого, что деды *верят в дело*. Есть незыблемое основание, почва под ногами. Уже кругом – 1 марта. И вот – предвестием входит в семью – «демон».

\* \* \*

Октябрь 1911

...Но уже на все это глядят чьи-то *холодные* глаза. В дружной семье появляется «странный незнакомец»...

...И ребенка окружили всеми заботами, всем теплом, которое еще осталось в семье, где дети выросли и смотрят прочь, а старики уже болеют, становятся равнодушнее, друзей не так много, и друзья уже не те – свободолобивые, пламенные. Теперь – апухтинская нотка.

*Уж Александр Второй в могиле,  
На троне – новый Александр.*

Семья, идущая как бы на убыль, старикам суждено окончить дни в глуши победонос-

цевского периода. Теперь уже то, что растет, – растет не по-ихнему, они этого не видят, им виден только мрак. Тут и начинается: золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин (опять и опять!), потом – гимназия – сначала утра при лампе, потом великопостные сумерки с трескающимся льдом и ветром. Петербург рождается новый, напророченный «обскурантом» Достоевским.

Пускай, наконец, «герой» воплотится. Пусть его зовут Дмитрием (как хотели называть меня).

## **План первой части (1878–1881)**

Чему радуется Петербург? Солнечный сентябрь 1878. Войска наши возвращаются от стен Цареграда. Их держали в карантине, довели до Александровской станции и теперь по одному полку в день вводят в город по шоссе от Пулкова. Трибуны у Московской заставы, там императрица и двор. Народ по всему пути. Из окон летят цветы и папиросы на «серые груди». Идут усталые и разреженные полки. У командиров полков, батальонов – всюду цветы, на седле, на лошадиной челке. У

каждого солдата – букет цветов на штыке. Тяжелая, усталая пехота идет через весь город – по Забалканскому, Гороховой, Морской... Адреса, речи. Гренадеры, бывшие у Московской заставы утром, дошли до казарм только в 6-м часу.

За ними Плевна, Шипка, Горный Дубняк. Шапки и темляки будут украшены. Но за ними еще – голод, лохмотья, спотыканье по снегу на Балканах, кровь, холод, смерть, хуже смерти – воровство интендантов.

В этой поэме я хочу указать на пропасть между общественным и личным, пропасть, которая становится все глубже[61].

10 октября <1911> на рассвете

Начало – на рубеже 70-80-х годов. Прекрасная семья. Гостеприимство – стародворянское, думы – светлые, чувства – простые и строгие.

Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова. Рядом «злится» Щедрин. Достоевский – обскурант.

Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бесшумно садится на трон, как сова. Око-

ло этого времени в семье появляется черная птица: молодой мрачный (байронист) – предвестие индивидуализма, неудачник, Александр Львович Блок. Приготовляется индивидуализм, это значит старинное «общественное» (миродержание) отпускается с миром, просыпается и готов зашуметь *народ*.

Вся суть в том, что *прелесть* той семьи так заметна, потому что все тогдашние прекрасные передовые русские люди носили в себе мир – при всеобщем сне. То были *герои* еще (дракон, спящая царевна). То, что кажется «наивным» теперь, тогда не было наивно, но было сораспятием. Профессор лучших времен Петербургского университета[62] был тем самым общественным деятелем, он *берег Россию*. То, что Щедрин говорит о современных ему урядниках и полицейских («Современная идиллия») – верно, не шарж. Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной «византийской» реакции – и сила светлая – русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя «общественное мнение».

Ну, а «Народная Воля»?

Итак, – священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты), – а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет «Жизнь животных» Брэма, и няня читает с ним долго-долго, внимательно, изо дня в день:

*Гроб качается хрустальный[63]...  
Спит царевна мертвым сном.*

Внук читает с няней в дедушкином кабинете (Кот Мурлыка[64], Андерсен, Топелиус [65]), а на другом конце квартиры веселится молодежь: молодая мать, тройки, разношерстные молодые люди – и кудластые студенты, и молодые военные (милютинская закваска), апухтинское: вечера и ночи, ребенок не замешан, спит в кроватке, чисто и тепло, а на улице – уютный толстый снег, шампанское для молодости еще беспечной, не «раздвоенной», ничем не отравленной, по-старинному веселой. Еще все дешево – и ямщицкий начай, и кабинет, и вдова Клико (кажется, в то время).

## Весна 1911

Семья начинает тяготить. И вот – его уже томит новое. Когда говеет гимназистом – синяя весна, сумерки, ладан, и лед звездится на лужах. Скоро мы встречаем его уже в обществе другом. Еврейка. Неутомимость и тяжелый плен страстей.

Вино.

На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли – укором, тревогой, мятежом. Может быть, они хуже остальных, может быть, они сами осуждены на гибель, они беспокоят и губят своих, но они – *правы* новизною. Они способствуют выработке человека. Они обыкновенно сами бесплодны. Они – последние. В них все замыкается. Им нет выхода из собственного мятежа – ни в любви, ни в детях, ни в образовании новых семей.

Хотя они разрывают с семьей, но разрывают тем и ее. Они любимцы, баловни, если не судьбы, то семьи. Они всегда «демоничны». Они жестоки и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они – едкая соль земли. *И*

они – предвестники лучшего.

\* \* \*

⟨1911⟩

После «А мир прекрасен, как всегда».

Я стою ночью у решотки Саксонского сада и слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную музыку. Над Варшавой порхают боевые звуки – легкая мазурка.

Цынцырны – цынцырны – цынцырны – цыцы.

И пахнет клевером с берегов Немана. Что за чудеса? Я замерзаю и слышу во сне райские звуки. Меня пробуждает...

## **План дальнейшего**

⟨Январь 1911⟩

Бесконечно прав тот, кто опускает руки, кто отказывается от поверхностных радостей жизни.

Сын спускался по Краковскому предместью, в том самом месте...

9-я глава: человек, опускающий руки и



опускающийся, прав. Нечего спорить против этого. Все так ужасно, что личная гибель, зарывание своей души в землю – есть право каждого. Это – возмездие той кучке олигархии, которая угнетает весь мир. Также и «страна под бременем обид».

### **3. «Наброски продолжения второй главы»**

*24 января 1921*

*К чему мечтою беспокойной  
Опережать событий строй?  
Зачем в порядок мира стройный  
Вводить свой голос бредовой?  
В твои... сцепленные зубы,  
Пегас, протисну удила,  
И если ты, заслышав трубы,  
На звук помчишься, как стрела,  
Тебе исполосую спину  
Моим узорчатым хлыстом,  
Тебя я навзничь опрокину,  
Рот окровавив мундштуком,  
И встанешь ты, дрожа всем телом,  
Дымясь, кося свой умный глаз  
На победителя...*

Смирителя твоих проказ...  
Пойдешь туда, куда мне надо,  
Грызя и пеня удила,  
Пока вечерняя прохлада  
Меня на отдых отвела...  
Смирись, и воле человека  
Покорствуй, буйная мечта...  
Сопели туман и темнота.  
Настал блаженный вечер века.  
Кончался век, не разрешив  
Своих мучительных загадок,  
Грозу и бурю затаив  
Среди широких... складок  
Туманного плаща времен.  
Зарыты в землю бунтари,  
Их голос заглушен на время.  
Вооруженный мир, как бремя,  
Несут безропотно цари.  
И Крупн[66], несущий мир всем  
странам,  
(Священный) страж святых мо-  
гил,  
Полнеба чадом и туманом  
Над всей Европой закоптил.

И в русской хате деревенской  
Сверчок, как прежде, затрещал.

В то время земли пустовали  
Дворянские – и маклаки  
Их за бесценок продавали,  
Но начисто свели лески.  
И старики, не прозревая  
Грядущих бедствий...  
За грош купили угол рая  
Неподалеку от Москвы.  
Огромный тополь серебристый  
Склонял над домом свой шатер,  
Стеной шиповника душистой  
Встречал въезжающего двор.  
Он был амбаром с острой крышей  
От ветров северных укрыт,  
И можно было ясно слышать,  
Какая тишина царит.

Навстречу тройке запыленной  
Старуха вышла на крыльцо,  
От солнца заслонив лицо  
(Раздался листьев шелест сон-  
ный),  
Бастыльник[67] покачнув кры-  
лом,  
Коляска подкатилась к дому.  
И сразу стало все знакомо,  
Как будто длилось много лет, —  
И серый дом, и в мезонине

Венецианское окно,  
Цвет стекол – красный, желтый,  
синий,  
Как будто так и быть должно.  
Ключом старинным дом откры-  
ли  
(Ребенка внес туда старик),  
И тишины не возмутили  
Собачий лай и детский крик.  
Они умолкли – слышно стало  
Жужжанье мухи на окне,  
И муха биться перестала,  
И лишь по голубой стене  
Бросает солнце листьев тени,  
Да ветер клонит за окном  
Столетние кусты сирени,  
В которых тонет старый дом.  
Да звук какой-то заглушенный —  
Звук той же самой тишины,  
Иль звон церковный, отдаленный,  
Иль гул (неконченной) весны,  
И потянулись вслед за звуком  
(Который новый мир принес)  
Отец, и мать, и дочка с внуком,  
И ласковый дворовый пес.

И дверь звенящая балкона  
Открылась в липы и в сирень,

И в синий купол небосклона,  
И в лень окрестных деревень.  
Туда, где вьется пестрым лугом  
Дороги узкой колея,  
Где обвелась...  
Усадьба чья-то и ничья.  
И по холмам, и по ложбинам,  
Меж полосами светлой ржи  
Бегут, сбегаются к овинам  
Темно-зеленые межи,  
Стада белеют, серебрятся  
Далекой речки рукава,  
Телеги... катятся  
В пыли, и видная едва  
Белеет церковь над рекою,  
За ней опять – леса, поля...  
И всей весенней красотой  
Сияет русская земля...

Здесь кудри внука золотые  
Ласкало солнце, здесь...

Он был заботой женщин нежной  
От грубой жизни огражден,  
Летели годы безмятежно,  
Как голубой весенний сон.  
И жизни (редкие) уродства  
(Которых нельзя было не заме-

тить)

Возбуждали удивление и не нару-  
шали благородства  
И строй возвышенной души.

Уж осень, хлеб обмолотили,  
И, к стенке прислонив цепи,  
Рязанцы к веялке сложили  
(Уже последние снопы).

Потом зерно в мешки ссыпают,  
Белеющие от муки,  
В телегу валят, и сажают  
Наверх ребенка на мешки.

Мешков с десятков по три меры  
Везет с гумна в амбар шажком  
Почти тридцатилетний серый,  
За ним – рязанцы вшестером,  
Приказчик, бабушка с плетеной  
Своей корзинкой для грибов —  
Следят, чтоб внук неугомонный  
Не соскользнул... с мешков.

А внук сидит, гордясь немного,  
Что можно править самому,  
И по гумну на двор дорога  
Предлинной кажется ему.

В деревне жили только летом,  
А с наступленьем холодов...

*(Перед ним встают) идеи Платона  
Великолепные миры.*

*И гимназистам, не забывшим  
Про единицы и нули,  
Профессор врет: «Вы – соль зем-  
ли!»*

*Семь лет гимназии толстовской  
[68],  
Латынь и греки...*

*Растет, растет его волнение,  
...отчего  
Уже туманное виденье  
В ночи преследует его,  
Он виснет над туманной бездной,  
И в пропасть падает во сне.  
Ему призывы тверди звездной  
В ночной понятны тишине,  
Его манят заката розы,  
Его восторгу нет конца,  
Когда... грозы...*

*И под палящим солнцем дня  
...на коня,  
Высокий белый конь, почуя  
Прикосновение хлыста,*

*Уже волнуясь и танцуя,  
Его выносит в ворота.  
Стремян поскрипывают...  
Позвякивают удила,  
Встречает жадными глазами  
Мир, зримый с высоты седла.*

Пропадая на целые дни – до заката, он очерчивает все бóльшие и бóльшие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении – высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом.

Он проезжает деревни, сначала ближние, потом – незнакомые. Молодухи и девки у колодца. Зачерпнула воды, наклонилась, надевает ведра на коромысло, слышит топот коня, заслонила от солнца, взглянула и засмеялась – блеснули глаза и зубы – и отвернулась, и пошла плавно прочь. Он смотрит вслед, как она качает стан, и долго ничего не видит, кроме этих смеющихся зубов, и поднимает лошадь в галоп. Она переходит в карьер, он летит без оглядки, солнце палит, и ветер свистит в ушах, уже вся деревня промелькнула



мимо – последние сараи, конопля, поля ржаные, голубые полосы льна, – опять перелесок, он остановил лошадь, она пошла шагом, тень, колеи, корни, из-за стволов старых смотрит большая заросль белой серебрянки, как дым, как видение.

Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката – облака окрасились в пурпур, видение средневековой твердыни. Он минует деревню и подъезжает к лесу, едет шагом мимо него; вдруг – дорожка в лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку – фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони – он перестает быть мальчиком.

*Январь и май – июль 1921*

#### 4. «Наброски окончания третьей главы»

Так у решотки сада длинной  
Стоит и мерзнет мой герой...  
Все строже, громче вьюги вой  
Над этой площадью пустынной,  
Встает метель, идет метель,  
Взрывает снежную постель,  
И в нем тоску сменяет нега,  
В его глазах стоит туман,  
И столбики и струйки снега  
(Вдруг) разрастаются в буран,  
Свист меж нагих кустов садовых,  
Железный гром с далеких крыш,  
И сладость чувств – летишь, ле-  
тишь  
В объятьях холода свинцовых...  
Вдруг – бешеная голова  
Коня с косматой белой гривой,  
И седоусый, горделивый  
Пан, разметавший рукава,  
Как два крыла над непогодой  
[Он шпорит дикого коня,  
Его глаза, как угли, алы]  
...свободой.

Из-под копыт, уж занесенных  
Над обреченной головой,  
Из-под удил коня вспененных,

*Из снежной тучи буревой  
Встает виденье девы юной,  
Все – ... все – нежность, все – при-  
зыв,  
И голос, точно рокот струнный.*

*Простая девушка пред ним...*

*Как называть тебя? – Мария.  
Откуда родом ты? – С Карпат.*

– **М**не жить надоело. – Я тебя не оставлю.  
Ты умрешь со мной. Ты одинок? – Да,  
одинок. – Я зарю тебя там, где никто не узна-  
ет и поставлю крест, и весной над тобой рас-  
цветет клевер.

*– Мария, нежная Мария,  
Мне жизнь постыла и пуста!  
Зачем змеятся молодые  
И нежные твои уста?  
Какою... думой...*

*– Будь веселей, мой гость угрю-  
мый,  
Тоска минует без следа.  
Твоя тоска... пройдет.*

*– Где мы? – Мы далеко, в предме-*

сты,  
Здесь нет почти жилых домов.  
Скажи, ты думал о невесте?  
– Нет, у меня невесты нет.  
– Скажи, ты о жене скучаешь?  
– Нет, нет, Мария, не о ней.

Она с улыбкой открывает  
Ему объятия свои,  
И все, что было, отступает  
И исчезает (в забыты).

И он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощенные мысли, воля к по-  
двигу, [никогда] не совершенному, растворя-  
ется на груди этой женщины.

Мария, нежная Мария,  
Мне пусто, мне постыло жить!  
Я не свершил того...  
Того, что должен был свершить.

Май – июль 1921

# Примечания

Широкое дыхание (*фр.*).

[^^^]

Впервые напечатана в сборнике стихов Блока «Нечаянная Радость» (1907). В собрании сочинений поэт сопроводил ее примечанием: «...почти точное описание виденного мною сна» (в записной книжке Блока он был подробно зафиксирован). Однако «сюжет» сна в поэме значительно дополнен и переработан, введен мотив расставания с «товарищами прежними», что вызывает ассоциации с конфликтом между Блоком и его недавними друзьями, такими же почитателями В. С. Соловьева – Андреем Белым (псевдоним Б. Н. Бугаева) и Сергеем Соловьевым. Последний тем не менее нашел поэму «прелестной», напоминающей белые стихи В. А. Жуковского по «насмешливо-добродушным тонам повествования». Белый же отзывался о поэме крайне раздраженно и язвительно.

[^^^]

### 3

Впервые – в третьей книге альманаха «Факелы» (1908) и «В дюнах» – в журнале «Золотое руно» (1907. № 10). В критике было сразу отмечено, что здесь «Блок всходит на те вершины поэзии, где душа его роднится с душою Пушкина» и что по этим стихам «можно судить о настоящем (будущем) размере дарования» автора (М. Гофман).

[^^^]



# 4

*Сотка* – водочная бутылка (сотая часть ведра).

[^^^]

# 5

*Тальеры* – женские костюмы.

[^^^]

# 6

*Фероньера* – украшение для волос.

[^^^]

Впервые: пролог и первая глава – в журнале «Русская мысль» (1917. № 1), вступление ко второй – в альманахе «Скрижаль» (1918), предисловие и третья глава – в журнале «Записки мечтателей» (1921. № 2–3). Блок не раз прерывал работу над поэмой и потом снова возвращался к ней, вплоть до последних набросков, сделанных летом 1921 г., уже во время смертельной болезни (см. Приложение).

[^^^]

## 8

*Эпиграф* – слова главного героя драмы Г. Ибсена «Строитель Сольнес».

[^^^]

*П. Н. Милюков* (1859–1943) – историк, лидер партии конституционалистов-демократов (кадетов).

[^^^]

*Андрей Ющинский* – мальчик, в якобы ритуальном убийстве которого был обвинен еврей Бейлис; дело Бейлиса глубоко взволновало русское общество. Блок был одним из требовавших оправдательного приговора.

[^^^]

Эпизод «Пантера-Агадир». – Появление немецкого военного корабля «Пантера» в марокканском порту Агадир резко обострило отношения Франции и Англии с Германией.

[^^^]



*Ругон-Маккары* – многотомная эпопея Э. Золя, повествующая об истории этой семьи.

[^^^]

Чувствительного воспитания (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

*Fin de siècle* – в переводе с французского: конец века, формула, обозначившая кризис европейской культуры на рубеже XIX–XX вв.

[^^^]

КОНЦОМ ВЕКА (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Вдова Клико – марка французского шампанского, – по фамилии владелицы фирмы (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

*Апухтинские годы* – по фамилии А. Н. Апухтина (1840–1893), поэта, некоторые стихи которого стали популярными романсами.

[^^^]

*Зигфрид, Миме* – персонажи древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах», положенного в основу цикла опер Рихарда Вагнера.

[^^^]

*Нотунг* – волшебный меч Зигфрида.

[^^^]



*Денница* – ангел, низвергнутый с небес за гордыню.

[^^^]

*Рекамье* – знаменитая красавица, привлекавшая в свой салон самых выдающихся людей.

[^^^]

*Мессина.* – Происшедшее в этом сицилийском городе в 1908 г. сильнейшее землетрясение произвело огромное впечатление на Блока и отразилось в его стихах и статьях.

[^^^]

*Ложемент* – небольшой окоп для укрытия пехоты или орудия.

[^^^]

*Чепрак* – подстилка под седло.

[^^^]

«Штрюк» – пренебрежительная кличка штатского, распространенная среди части тогдашнего офицерства.

[^^^]

*Белый генерал* – прозвище отличившегося в этой войне М. Д. Скобелева.

[^^^]

*Софья Львовна* – Перовская, одна из руководительниц партии «Народная воля».

[^^^]



*Княгиня Марья Алексевна.* – Имеется в виду заключительная фраза комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Ах, Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»; речь идет о крайней зависимости от чужого мнения.

[^^^]

«Народная воля» – нелегальное издание, выпускавшееся одноименной революционно-народнической организацией.

[^^^]

*«Луч света в царстве тьмы»*. – Имеется в виду знаменитая статья Н. А. Добролюбова *«Луч света в темном царстве»*.....

[^^^]

*Не моего романа* – цитата из «Горя от ума».

[^^^]

*Вревская* – под этим именем выведена известная общественная деятельница А. П. Филофова.

[^^^]

*Бенжамен Констан* – французский писатель и общественный деятель.

[^^^]

*Лоренц Штейн* – немецкий юрист, теориям которого посвящена книга отца поэта, А. Л. Блока «Государственная власть в европейском обществе» (1880).

[^^^]

*Царь огромный, водянистый* – Александр III.

[^^^]



«Князь» – прозвище татар-старьевщиков.

[^^^]

Улица в Варшаве.

[^^^]

*Коперник... над пустою сферой* – памятник великому ученому в Варшаве.

[^^^]

Чувствительное воспитание (*фр.*). «Education sentimentale» – заглавие романа Г. Флобера. – *Ред.*

[^^^]

*Гарпагон* – герой комедии Ж. Б. Мольера «Скупой»....

[^^^]

*память глаз огромных И крыл, изломанных в горах...* – Здесь и далее использован образ Демона, над созданием которого долгие годы мучительно бился художник М. А. Врубель, чрезвычайно ценимый Блоком, а консервативной критикой зачислявшийся в «декаденты».

[^^^]

*«Новый свет», «Краковское предместье»* – варшавские улицы.

[^^^]

«В полную меру» – лозунг Бранда, героя одноименной драмы Г. Ибсена (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]



*Бранд* – герой одноименной драмы Г. Ибсена.

[^^^]

Впервые – в газете «Русское слово» 14 декабря 1915 г. Поэма связана с увлечением Блока оперной певицей Любовью Александровной Дельмас, которой посвящен цикл «Кармен» (1914).

[^^^]

Впервые – в газете «Знамя труда» 18 февраля  
(3 марта н. ст.) 1918 г.

[^^^]

*Бубновый туз.* – Лоскут в форме этой карточной фигуры нашивался на спину осужденному на каторжные работы.

[^^^]

*Не слышно шуму городского...* – эта строфа варьирует «Песню узника» Ф. Н. Глинки, ставшую популярным романсом.

[^^^]

*Невская башня* – башня над зданием Городской думы на Невском проспекте.

[^^^]

«Вперед... рабочий народ» – перифраз слов известной революционной песни «Варшавянка».

[^^^]

Впервые – в газете «Знамя труда» 20(7) февраля 1918 г.

[^^^]



Эпиграф – неточная цитата из стихотворения  
В. С. Соловьева «Панмонголизм».

[^^^]

*Провал Лиссабона.* – Город дважды разрушался землетрясениями.

[^^^]

*Крылами бьет беда* – образ из «Слова о полку Игореве».

[^^^]

*Пестум* – древнегреческий город, колония в Южной Италии, разоренная арабами.

[^^^]

*Гунн* – представитель кочевого народа, пришедшего в IV–V вв. из Азии и опустошившего Западную Европу; здесь – варвар, разрушитель культуры.

[^^^]

«Мильон терзаний». – знаменитая статья писателя И. А. Гончарова о комедии «Горе от ума»....

[^^^]

*...опять высоким слогом Я придушу тебя в углу!* – намек на строки из пушкинского «Евгения Онегина»: «... Ко мне забредшего соседа,  
Поймав нежданно за полу, Душу трагедией в углу...»

[^^^]

*...с вечно смятой розой на груди...* – строка из стихотворения Блока «Май жестокий с белыми ночами!..».

[^^^]



*Жандармы, рельсы, фонари...* – цитата из третьей главы поэмы.

[^^^]

Последний абзац перечеркнут в рукописи  
знаком вопроса. – *Ред.*

[^^^]

*Профессор лучших времен Петербургского университета – А. Н. Бекетов, дед Блока.*

[^^^]

*Гроб качается хрустальный...* – цитата из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина.

[^^^]

*Кот Мурлыка* – литературный псевдоним профессора зоологии Н. П. Вагнера (1829–1907), автора «Сказок Кота Мурлыки».

[^^^]

3. *Топелиус* (1818–1898) – шведско-финский писатель.

[^^^]

*Крупп* – немецкая фирма, снабжавшая оружием многие страны.

[^^^]

*Бастыльник* – высокая сорная трава (бурьян).

[^^^]



*Гимназия толстовская* – названа по фамилии министра народного просвещения графа Д. А. Толстого, при котором было введено так называемое классическое образование с преимущественным вниманием к изучению латинского и древнегреческого языков.

[^^^]